Лев Вершинин

О знаменитостях, и не только...

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги — известный литературный критик и переводчик, в настоящее время живет в США. За свою долгую и яркую жизнь встречался со многими знаменитостями: Альберто Моравиа и Итало Кальвино, Борисом Пастернаком и Лилей Брик, Анастасией Цветаевой и Евгением Евтушенко… Об этих встречах, «о времени и о себе» и рассказывает Лев Вершинин в своих мемуарах.

- Лев Вершинин
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая

Лев Вершинин
О ЗНАМЕНИТОСТЯХ, И НЕ ТОЛЬКО…

Глава первая

Да, порой судьба преподносит нам такие сюрпризы, какие и хитроумнейшему фантасту не снились: могла ли моя мать, Сафрай Мария Ароновна, внучка Могилевского раввина, думать и гадать, что станет однажды женой большевика — комиссара Вершинина Александра Юрьевича! В семье матери большевиков иначе как «а фармазонем» не называли. Но на одном из спектаклей юная Мария встретила красавца фармазона. Роман был молниеносным и бурным, а месяц спустя они поженились.

Отец мой, уроженец знойного Тифлиса, видно, оттуда принес неодолимую страсть к приключениям. Вот и в приключение-революцию он ринулся с неистовством азартного игрока, каким и был по натуре.

Военная форма, револьвер на боку, право командовать и произносить на митингах пламенные речи — ничего лучше и придумать нельзя.

В свирепом девятнадцатом году стал он начальником железных дорог Юга России и уж развернулся вовсю. Снабжал продовольствием осажденный белой армией Петроград, бушевал, приказывал, грозил подчиненным суровыми карами. Не мудрено, что с такими данными он в тридцатые годы пробился в помощники наркома Пятакова.

Только и блистательная карьера не помогла крепости семьи. После семи лет совсем не безоблачной совместной жизни родители мои развелись — комиссарской жены из внучки раввина не получилось. Правда, расстались они по-мирному. Отец взял чемоданчик со своими вещами и отбыл на квартиру матери. Неутомимый жизнелюб, деливший свободное время между ипподромом и ресторанами, он все-таки находил порой возможность навестить свою первую жену Марию и сына.

Он и принес в конце тридцать восьмого года весть о смерти друга своего Михаила, брата Лазаря Кагановича. Самого Лазаря наци-патриоты прошлые и нынешние именовали и по сей день именуют тайным советником-хазаром мудрого, но чересчур доверчивого вождя народов Иосифа Сталина.

К могущественному брату с мольбой о помощи и обратился Михаил Каганович. Перед этим его сняли с поста наркома авиационной промышленности, а вскоре и вовсе исключили из партии. В ту пору подобные оргвыводы были четким и внятным предвестником ареста и гибели в концлагере.

— Брат уж точно знает, как искренне, всей душой и телом, предан я партии и нашему великому вождю Иосифу

Виссарионовичу, перед ним я весь нараспашку, — объяснил он отцу. — И Лазарь может и должен это подтвердить. Ему Сталин верит.

Лазарь Моисеевич Каганович выслушал брата, ерзая на стуле и нервно потирая бугристую щеку. После минутного, тягостного молчания он изрек:

— Раз тебя из нашей родной партии исключили, значит, ты перед ней крепко провинился. Запомни раз и навсегда — партия не ошибается.

В ответ Михаил плюнул брательнику в лицо. Как ошпаренный выскочил из его кабинета, сбежал вниз, сел в машину, примчался домой и… застрелился.

— Наконец-то среди вас, кремлевских начальничков, хоть один порядочный человек нашелся, — первой отреагировала на рассказ отца моя бабушка. Отец рывком поднялся и, озираясь опасливо, пошел к выходу. На прощанье он уже с порога бросил прежней своей теще:

— Смотрите, Ента Ошеровна, язык теперь и до Магадана доводит. Нос у вас, милейшая, немалых размеров, вот и держите его по ветру.

— Кому-кому, а вам, зятек мой недавний, ветер всегда в спину дует, — откликнулась бабушка.

Что верно, то верно — отец мой и впрямь отличался редким нюхом на грядущие беды.

Когда из всех помощников новоявленного врага народа Пятакова в живых остался лишь он один, отец понял: еще немного — и настанет его черед. И принял свои контрмеры — молниеносно отбыл на Дальний Восток. Строить там сталелитейный завод, благо у него был еще и инженерный диплом.

Там он отсиделся до сорокового года и вернулся в Москву, лишь когда на смену чисткам повальным пришли чистки выборочные.

Едва началась война, отца призвали в армию. Он командовал саперной бригадой, дошел до Праги и надел долгожданные генеральские погоны.

Три года спустя на мою просьбу рассказать какой-нибудь наиболее запомнившийся военный эпизод отец отшутился:

— Поверь мне на слово — немецкие мины взрывать легче, чем дворцовые.

Что ж, отец ловко и умело ходил по минным полям и ни разу не подорвался. Дожил до почтенных восьмидесяти лет и умер в семьдесят втором в своей постели. За эти годы он успел трижды жениться, дважды развестись, опуститься до главного инженера

завода стройматериалов и проиграть уйму денег на бегах.

Вообще, деньги он почитал сушей безделицей, расставаться с которой ничуть не жаль.

— Если весь смысл жизни в деньгах, то сама жизнь утрачивает смысл, — мудро заключил он в очередной визит к нам после очередного крупного проигрыша на ипподроме. А пришел он к маме, скромному врачу-отоларингологу, снова взять денег в долг на недельку-другую.

На сей раз мама не выдержала:

— О какой недельке ты говоришь, Шура, когда с последнего моего займа тебе прошло больше года?

— Смотри, как время бежит! Быстрее даже, чем женщины на свидании скидывают с себя платье, — отшутился он, ничуть не смутившись.

— Тебе виднее. Но ты на склоне лет еще и философом стал, — поддела его мама.

— При чем тут я? Это слова Юзика.

Так отец называл известного театрального критика Юзовского, давнего своего друга, в сороковые годы угодившего в ряды «презренных космополитов».

К чести разноцветного моего отца, он и тогда не порвал с ним и всячески пытался ему помочь, не очень, правда, успешно.

Отец в жизни ничем не болел, и лишь в последние месяцы у него стали сильно отекать ноги. Потом он и вовсе слег.

Пришел я навестить его, принес еду и вино — пил он только цинандали — и за ужином, когда остались мы одни, спросил:

— Скажи честно, тебе не жалко загубленной карьеры, утраченного дома, уплывших в ресторанах и на скачках денег, впустую растраченных сил?

Пожалуй, впервые отец не на шутку рассердился:

— Чепуху мелешь, дорогой мой сыночек. О чем мне жалеть? Я прожил жизнь сполна. А главное, любое мое желание было для меня законом. Многие ли могут этим похвастать? Нет, я и ада не боюсь, и о рае не мечтаю. И то и другое я уже здесь, на земле, повидал.

Когда я потом рассказал об этом последнем своем разговоре с отцом моему сводному брату Юре, тот согласно кивнул головой.

— Отец ни на йоту тебе не солгал. Думаешь, он на том свете все-таки мечтает попасть в рай? Вовсе нет — на скачки.

Счастливым, безответственным человеком был мой отец, да сбудется там заветная его мечта. Чего не могу, увы, сказать о себе на этом свете! Главным, вернее, единственным словом у моей матери было «надо», и оно крепко подпортило мне жизнь. Начать с того, что дядя мой Иосиф (он погиб в 44-м году в бою под

Варшавой), когда я стал выбирать, в какой институт поступить, суровым ТОНОМ объявил:

— В какой угодно, но технический.

Я тоже с детства «не любил овал», но заодно — и все треугольники и гипотенузы. Тянуло меня отчаянно к языкам, а мечтал я стать дипломатом. Неумолимый дядя Ося, а в нашей семье он был непререкаемым авторитетом, напрочь отмел оба моих влечения.

— Дипломат из тебя с твоим недержанием речи — как из меня Лев Толстой. Ну, а языки — и вовсе занятие для бездельников. Все равно что книгу на работе читать. Жаль, что и врача из тебя не выйдет — больно ты горячий. Остается одно — инженер, на еду и одежду он всегда и везде заработает. По себе знаю.

В итоге я, преодолев отвращение к математике и черчению, поступил в надежный Энергетический институт.

Произошло это в начале сорок четвертого военного года. Директором МЭИ была тогда мадам Голубцова — жена пухлого, рыхлого и беспощадного сталинского сатрапа Маленкова. Для своего любимого детища она без труда выбила броню, повышенную студенческую стипендию и бесплатный обед. Последнее для меня, изрядно оголодавшего за эти два года, было особенно ценным.

Проучился я в Московском энергетическом целых шесть месяцев и понял: еще немного — и повешусь. А тут и мама вернулась в Москву с Волховского фронта, на краткосрочную побывку.

— Как, — изумилась она, — до сих пор ты не в армии?! Стране, Лева, нужны сейчас не энергетики, а воины. Учеба подождет, сынок.

Объяснять ей, что медицинская комиссия после недавней дистрофии признала меня негодным к военной службе, я не стал. Утром пошел в военкомат и отказался от брони. Уже неделю спустя получил — неслыханная для меня удача — назначение в московский ВИИЯ — Военный институт иностранных языков, куда и поступил на итальянское отделение. Почему именно на итальянское? Так вот — мой выбор определили романтический порыв и… случайность.

Правда, романтика моя была не итальянской, а испанской окраски.

Тогда, в далекие тридцатые годы, почти все мальчишки мечтали записаться в «интернациональные бригады», чтобы сражаться с ненавистными франкистами. Я даже собирался удрать из Москвы в Одессу. Там, в порту, тайком проскользнуть

на корабль и поплыть, спрятавшись в трюме, в Испанию. Был я твердо убежден, что без меня республиканцам Мадрид не отстоять. Мадрид они и впрямь не отстояли, республика пала. Хоть и сражалось на ее стороне немало советских летчиков и танкистов, многих из которых Сталин «в знак благодарности» затем расстрелял. Он имел обыкновение награждать людей сначала орденом, а потом — пулей.

Но об этом в ту пору я ничего не знал и не раздумывая подал заявление на испанское отделение. Конечно, гражданская война в Испании к тому времени давно окончилась, и генералиссимус Франко стал главой всего государства. Ну и что? Разве нас, людей советских, не учили, что поражения революций — всегда временные, а финальная победа неизбежна и неотвратима? Таков железный закон истории.

Наступило лето сорок четвертого года. Армия нацистской Германии после Сталинградской битвы так и не сумела оправиться, и крах фашизма неумолимо приближался. А за ним неизбежно наступит черед франкистов. Вот почему на испанский факультет была подана уйма заявлений. Увы, я оказался в самом хвосте, и мне хоть и вежливо, но отказали в приеме. Правда, при этом дружески посоветовали: «Ищите другой язык, скажем шведский или голландский».

Понурый, тоскливо опустив лохматую голову, шел я по коридору института, не зная, что теперь делать. Ни шведский, ни голландский языки ничего не говорили моему сердцу. Вдобавок и революций там в ближайшее время не предвиделось. Тоска, да и только.

А навстречу мне бодро шагал лейтенант. Невысокий, коренастый, с густыми кавалерийскими усами и орденской планкой на груди, что выдавало в нем бывалого вояку. Но мне было не до него. Лейтенант же не просто заметил меня, но и увидел по моему лицу, что настроение у данного курсанта прекислое.

— Эй, курсант, — окликнул он меня и остановился. — Ты чего такой скучный? Увольнительную не получил?

Остановился и я. Рассказал бравому лейтенанту о своей неудаче, ожидая от него ну хоть слов сочувствия.

— Только и делов! — к немалому моему удивлению, воскликнул лейтенант. — Так иди к нам, на итальянский, ей-ей не пожалеешь.

— А что в нем хорошего, в этом вашем итальянском языке? — мрачно спросил я.

— Ну, — лейтенант на миг замялся, — во-первых, он очень музыкальный, прямо поющий.

Уловив наметанным глазом, что меня сие ничуть не впечатлило, молниеносно подбросил И другой довод:

— А еще он очень легкий, его выучить пара пустяков.

— Это почему же? — недоверчиво спросил я.

— Дак сам посуди, все читается как пишется.

Вот это уже был аргумент веский. В ту пору я по уши влюбился в Руфу, свою бывшую одноклассницу, стройную девушку с красивыми стального цвета глазами под густыми бровями, и проводил с ней сутки напролет. Так что особо налегать на изучение языка вовсе не жаждал.

Тем временем лейтенант привел еще один, не менее убедительный довод:

— Знаешь, многие слова у итальянцев здорово на наши похожи. Вот мы, к примеру, говорим «фортепьяно», они — «пьянофорте». Мы — «кретин», а они «кретино».

Все, я сдался, значит, и ругаться на итальянском будет совсем не сложно.

— Видать, и впрямь отличный язык, — сказал я. — В твою группу записаться можно?

— Конечно, какой разговор! — воскликнул лейтенант и повел меня в отдел кадров.

В нашей группе было четырнадцать курсантов — восемь парней и шесть девушек.

По странному стечению обстоятельств почти все мои товарищи по отделению не ринулись, как я сам, изучать мелодичный и звучный итальянский язык. И в этом им немало «помог» наш, ныне покойный, преподаватель Гуальтьеро — мы все для простоты звали его Вальтер-Мизиано. Низенький, сутулый, с детства сильно хромой, он обладал, однако, несметным сокровищем — очень красивым голосом, что впоследствии и привело его на эстраду.

Сын Франческо Мизиано, одного из основателей итальянской компартии двадцатых годов, Гуальтьеро попал в Россию вместе с родителями совсем малышом. Прах его отца, которому посчастливилось умереть своей смертью еще до жесточайших сталинских репрессий, и ныне покоится у Кремлевской стены. Ну а Гуальтьеро с отличием окончил Московский университет, получил диплом преподавателя, но в душе раз и навсегда остался певцом. Вот мы и принялись бессовестно эксплуатировать неизбывную любовь Гуальтьеро-Вальтера к бельканто.

Только он начинал спрашивать у нас, курсантов, как спрягается, к примеру, неправильный глагол «мочь», как с передней парты подавал голос мой сокурсник Женя Подколодный.

— Каро маэстро, — с невинным видом обращался он к Вальтеру. — Я тут случайно нашел ноты песни «О соле мио», стал ее разучивать, да не знаю, правильно ли пою.

«О соле мио, стай ин фронт а те», — тихонько запевал он, нарочно фальшивя, хоть и обладал превосходным слухом.

Вальтер, мгновенно позабыв о глаголе «мочь», взвивался до небес.

— Уши прочисти! Разве здесь «фа»?!

Мы победоносно переглядывались — наш наивный маэстро снова попался в нехитрую ловушку.

— Прикрой-ка получше дверь, — обращался он к моему соседу по парте, Лене Капелюшу, и начинался очередной «урок пения».

Так весело и мило прошел учебный год, а на экзаменах выяснилось, что группа наша знаниями отнюдь не блещет. За исключением меня и Лени, наделенных от природы слабым слухом и сильным, непригодным для бельканто голосом. Вот нам двоим и приходилось во время музыкальных «репетиций» заниматься языком. Ведь кто-то в группе должен был отвечать урок в тех редких случаях, когда Вальтер не поддавался на хитрость Жени Подколодного.

Нет, я не случайно столь подробно рассказываю об этом эпизоде.

Вынужденное прилежание сыграло немалую роль в моей дальнейшей судьбе и, что даже важнее, в судьбе еще шести человек.

Более или менее благополучно закончив второй курс, мы дождались наконец летних каникул. К тому времени мы уже не были на казарменном положении, а жили дома. Каждый строил заманчивые планы путешествий: кто по Подмосковью, а кто и вовсе по Кавказу. Ведь шел август 1945 года, и война завершилась полной победой Страны Советов.

И вдруг я вместе о Леонидом Капелюшем получаю приказание явиться в Управление по делам репатриации при Совете Министров СССР.

Находилось оно тогда в огромном сером здании на Арбате, рядом со Смоленской площадью. У входа в здание стоял часовой с пистолетом, и проверка пропусков, помнится, была самой тщательной. Неулыбчивый солдат провел нас по узкой каменной лестнице на второй этаж и, распахнув дверь одной из комнат, доложил:

— Товарищ майор, вызванные вами сержанты прибыли.

Кряжистый, с широким крестьянским лицом и неожиданно тонкими губами майор приветливо похлопал нас по плечу, что

уставом не предусматривалось, и сказал:

— Садитесь, сейчас все вам объясню.

Он извлек из ящика письменного стола две объемистые папки, протянул их нам с Леней и приказал:

— Прочтите, а потом заполните анкеты.

Прошло минут десять, прежде чем до меня дошло, зачем нас обоих вызвали в таинственное Управление по делам репатриации. Нам предстояло в составе военной делегации отправиться в Италию за группой бывших советских военнопленных — тех, кто оказался на оккупированном нацистами Севере Италии и был освобожден при наступлении войсками союзников.

— Задание сверхответственное, — предупредил нас майор. — От вас, ребятки, потребуется не просто отличное знание итальянского языка, а еще и абсолютная революционная бдительность.

Признаться, тогда я не сразу понял, при чем здесь особая бдительность.

Немало, впрочем, удивило меня и само мое включение в состав столь важной делегации, едущей за рубеж. Подобное доверие оказывалось лишь заслуженным, всесторонне проверенным товарищам. С Леней все было ясно: фронтовик, награжденный боевым орденом Красной Звезды, член партии, он был, как тогда говорили, «свой в доску».

Со мной дело обстояло куда хуже. По молодости лет в войне не участвовал, беспартийный, да и мать изрядно подкачала. Она происходила из состоятельной еврейской семьи и еще до революции успела в Могилеве окончить гимназию, что в глазах Советской власти ее вовсе не украшало. Правда, потом она три года войны проработала в полевом госпитале. Впрочем, добровольцами пошли на фронт и ее брат Иосиф, и моя будущая жена Мася Котляр. Зато доморощенные антисемиты всех мастей и наций и по сей день с пеной у рта доказывают, будто евреи не воевали. В партию мать так и не вступила, что тоже считалось большим изъяном. Но некоторой компенсацией был мой отец, подаривший мне не только жизнь, но и свою благозвучную фамилию. Старый большевик, в годы войны генерал, командир саперной бригады, он явно облагораживал мою короткую биографию. Да вот беда, мои родители довольно скоро развелись, а значит, семья — первичная ячейка советского общества — оказалась непрочной.

Одним словом, я не был безупречным советским гражданином. Каково же было мое изумление, когда после тщательной двухнедельной проверки меня утвердили в составе будущей делегации, а Леню Капелюша — нет. Тогда у меня

впервые зародилось смутное сомнение, что в блистательной биографии моего сокурсника не все в порядке. Хотя ему разрешили продолжить учебу в военном институте, а значит, ничего страшного с ним не произошло. К несчастью, дальнейшие события подтвердили, что мои опасения оказались не напрасными. Но беда нагрянула много позже.

А пока я каждый день, включая выходные, ходил отмечаться в Управление по делам репатриации. Отъезд делегации в Италию почему-то откладывался и откладывался, но я не роптал — мне и дома было уютно как никогда. Мало того, что мне присвоили звание младшего лейтенанта, а значит, повысился мой оклад, так еще выделили специальный продовольственный паек. Впервые за долгие годы у нас на обеденном столе появилась свежая рыба и даже шоколадные конфеты — давно исчезнувший с прилавков магазинов «Мишка на севере».

Однако время шло, и меня стало мучить беспокойство — а что же дальше? На все мои вопросы я получал лаконичное «Ждите». И вдруг, в очередной мой приход в серое здание на Арбате, майор ошарашил меня вопросом:

— Ты по-итальянски хорошо читаешь?

Вопрос, признаться, показался мне весьма нелепым. После двух лет учебы да не научиться читать, это уж надо круглым дураком быть. Впрочем, и того, кто подобные вопросы задает, умным не назовешь. Однако я успел убедиться, что мой новый начальник далеко не глуп. Значит, вопрос-то с подвохом?

— Вроде не плохо, — пробормотал я.

— Сейчас проверим, — с ухмылкой сказал майор и вынул из кармана пожелтевший лист бумаги. — Прочти и переведи. Полчаса тебе хватит?

«Да на это и десяти минут много», — подумал я, но благоразумно промолчал. И скоро понял, что тут можно и в полчаса не уложиться.

Это было письмо командира партизанского отряда из гарибальдийской бригады. Он удостоверял, что бежавший из немецкого плена Николаев Павел Семенович сражался в бригаде Гарибальди в районе Вальдарно. Он показал себя воином храбрым и политически зрелым, что подтверждает также политкомиссар бригады. Далее шло перечисление мест, где происходили бои, и указывались точные даты. Некоторые буквы выцвели, иные на сгибах стерлись, многие имена и фамилии я сумел разобрать, только вооружившись лупой.

Но когда ровно через полчаса майор вернулся, перевод был готов.

— За точность ручаешься? — спросил он.

— Ручаюсь, — ответил я, сообразив, сколь роковой может стать любая моя ошибка.

— Тогда пошли.

И он повел меня в кабинет в противоположном конце коридора. Открыл дверь, но дальше порога не пустил. Однако я успел разглядеть средних лет человека, небритого, с отекшим лицом и потухшими глазами. На нем была офицерская гимнастерка, но без погон. Майор бесшумно закрыл дверь и легонько вытолкнул меня в коридор.

— Вот он, твой Николаев, — объяснил он. — Все, ты свободен. Только будь сегодня дома, никуда не уходи, можешь мне снова понадобиться.

Подобных писем мне довелось перевести шесть. И могу с гордостью сказать, что есть и моя доля участия в спасении жизни этих бедолаг.

Обычно мой майор и два энкаведешника подвергали бывшего военнопленного и партизана перекрестному допросу. Они придирчиво сверяли его ответы с тем, что прежде узнали из письма командира гарибальдийской бригады. Если все сходилось и он не путал ни имен, ни дат, его отпускали домой и даже выдавали денежное пособие. Ну а если сбивался — поди упомни все спустя три года, — беднягу ждал новый допрос, еще более суровый.

Но то были лишь немногие счастливчики, сумевшие бежать в Италии из лагерей и присоединиться к партизанам. А каково приходилось тем, кто всю войну пробыл в лагере для военнопленных и был освобожден армией союзников?! Сотни и тысячи таких воинов, едва они ступали на родную землю, по этапу снова отправляли в лагерь, на сей раз советский. Как изменников родины, посмевших живыми сдаться в плен.

«Умри, но в плен не сдавайся» — таков был приказ Сталина. Все военнопленные считались, согласно данному приказу, предателями. Исключение делалось, повторяю, лишь для тех, кому удалось совершить побег и вступить в партизанский отряд.

Между тем существовал и другой приказ — всех военнопленных вернуть на родину, пообещав им всяческие блага. С этой целью и отправлялась в Италию наша военная делегация, да так и не отправилась.

Каким-то образом до военнопленных дошли слухи о трагической судьбе тех простаков, которые поверили уговорам и вернулись домой. И вот главе первой советской военной делегации, прибывшей в Италию двумя месяцами раньше, один из военнопленных стальным прутом проломил голову, а остальных избили до крови. По этим веским в прямом и

переносном смысле слова причинам поездку нашей делегации в последний момент отменили. Мне о том под великим секретом рассказал майор, хотя за подобную откровенность тогда нередко расплачивались тюрьмой, а то и головой. Все-таки и в те страшные годы даже среди контрразведчиков, а порой и энкаведистов, попадались порядочные люди, сохранившие крупицы доброты.

Мой человечный майор, хоть и мог для продолжения службы отправить меня в любую воинскую часть Советского Союза, позволил мне вернуться в родной ВИИЯ и снова приступить к учебе.

Глава вторая

Прошло еще два года, и наконец учеба моя в ВИИЯ завершилась. Оценки по всем предметам были очень высокие, и преподаватели сочли возможным порекомендовать меня в институтскую аспирантуру. Да вот отдел кадров в науку мне допуска не дал. Шел тысяча девятьсот сорок восьмой год, кампания по борьбе с космополитизмом набирала силу, а у меня мама еврейка. Да и отец хоть и Вершинин, а половинка.

По сим причинам получил я назначение в город-герой Севастополь, где мне предстояло служить военным переводчиком в радиоотряде. Покидать Москву, родных и друзей ох как не хотелось, однако приказы не обсуждаются. Собрал я свои немудреные пожитки и… угодил по «скорой» в Центральный военный госпиталь с острейшим приступом грыжи. А наутро уже лежал на операционном столе. Сама операция вроде бы прошла успешно, но на второй день температура поднялась до сорока. С каждым часом мне становилось все хуже — я то терял сознание, то ненадолго приходил в себя.

В одно вовсе не прекрасное утро я очнулся после очередного обморока, открыл глаза… и решил, что начался предсмертный бред. Возле моей кровати стояли отец и недавняя наша преподавательница Елизавета Зиновьевна Маркова-Пешкова.

Тут мне придется вернуться на два года назад, чтобы рассказать об этой женщине с удивительной судьбой.

Когда нам, курсантам, на третьем курсе объявили, что разговорный итальянский будет у нас вести Маркова-Пешкова, мы сразу подумали — а не родственница ли она Алексея Максимовича Горького? А если родственница, то, верно, древняя старуха. Первое наше предположение хоть и косвенно, но подтвердилось, а вот второе оказалось с точностью до наоборот.

В класс вошла стройная, молодая, очень красивая женщина с прекрасным матовым лицом и пухлыми, чувственными губами. Она сразу предупредила нашу группу, что говорить с нами будет только по-итальянски. Новшество сие пришлось нам крепко не по вкусу. Но после нескольких уроков сугубо на языке Данте и Боккаччо выяснилось, что синьора Маркова-Пешкова родилась и провела свою юность в Италии и русским языком владеет неважно. Оттого-то и предпочитает вести занятия на родном и привычном итальянском. Постепенно мы с этим смирились, тем более что Елизавета Зиновьевна вовсе не требовала от нас особого прилежания. К тому же уроки она вела живо и отличалась редким обаянием.

Однажды, на большой перемене, она сильно закашлялась. Немного отдышавшись, она тихим таким голоском объяснила, что у нее дико болит горло и, похоже, началась ангина. Тут я возьми и брякни, что моя мать — врач-отоларинголог и, верно, сможет ей помочь.

Тем же вечером Елизавета Зиновьевна явилась в нашу шумную коммунальную квартиру в Настасьинском переулке. Вошла в комнату, царственно села в кресло у камина и с первой минуты повела себя так, словно с моей матерью знакома давным-давно. К немалому моему удивлению, мама, воспитанная в пуританском духе, обычно сдержанная и даже замкнутая, быстро подружилась с Лизочкой, как вскоре стала ее звать. Кокетливая, переменчивая, лишенная каких-либо предрассудков в сфере любовной, Лизочка была полной противоположностью моей матери с ее чрезмерным даже ригоризмом. Месяца через три они стали прямо-таки закадычными подругами — водой не разольешь. Само собой, частица от этой дружбы досталась и мне.

Жила Лиза Пешкова вместе с двумя сыновьями, десяти и семи лет, в трехэтажном кирпичном доме прямо во дворе нашего института. Как-то раз она пригласила меня к себе домой на день рождения младшего сына Алеши. Честно говоря, я испытывал некоторую неловкость — все-таки она преподаватель, а я — студент. Однако и отказываться было неудобно. Словом, купил я торт и пошел к «Лизочке» в гости.

Обстановка в ее двухкомнатной квартире была бедненькая — старый шкаф, потертый диван, разнокалиберные стулья. Но на ночном столике из красного дерева лежало кольцо с бриллиантом. Как я догадался, несмотря на мою весьма малую «ювелирную» опытность, оно было очень дорогим. Поразило меня, однако, не это, а портрет пожилого, благообразного мужчины с густой бородой и усами. Был он в ермолке, что недвусмысленно говорило о его иудейском происхождении.

— Кто это? — вырвалось у меня.

— Мой дедушка, Михаил Израилевич Свердлов.

Я невольно вздрогнул.

— Да, да, отец Якова Михайловича Свердлова и его старшего брата Зиновия, моего отца, — спокойно добавила Лиза.

Я растерянно молчал, переводя взгляд с портрета на саму хозяйку квартиры. Никаких семейных черт я в ней, право же, не находил — разве что глаза миндалевидные.

«Но откуда тогда эта фамилия Пешкова?»

Легко разгадав мои мысли, Елизавета Зиновьевна пояснила:

— Моего отца усыновил Горький. Ну а то, что его настоящая фамилия была Пешков, ты, наверно, из учебников все-таки

знаешь. — И она лукаво улыбнулась, обнажив верхний ряд сплошь золотых зубов.

— Какие у вас красивые зубы! — воскликнул я, пытаясь за этим дурацким комплиментом скрыть свое смятение.

— Если только нижние, — с прежней невозмутимостью пояснила она. — Верхние мне в 38-м при допросе выбили.

Здесь уж меня и вовсе прошиб холодный пот.

«Угораздило меня прийти сюда, — с тоской подумал я. — И потом, ведь знал же ты, болван, что верхние-то зубы у нее золотые. Ничего не скажешь — комплиментщик!» В полном замешательстве я невольно сел на диван.

— Я еще дешево отделалась, — продолжила свой рассказ Лиза. — Эти подлые энкаведешники могли и все до единого зуба выбить и в придачу еще и руки-ноги поломать. Поленились, видно.

За такие откровения в те недобрые времена рассказчику полагалось не меньше десяти лет лагерей, да и слушатель свои лет пять за недоносительство уж точно бы схлопотал.

«Веселенькое, однако, положеньице». А Лизочка как ни в чем не бывало продолжала рассказывать о себе и своей семье. Тогда-то я и узнал, что ее дед жил, как и Горький, в Нижнем Новгороде, где имел свою граверную мастерскую. Там он и познакомился с Горьким, который однажды заказал ему визитные карточки. Со временем он стал частым гостем в доме великого писателя и нередко приводил туда обоих сыновей, младшего, не по годам серьезного и начитанного Якова, и шустрого, непоседливого Зиновия. Не прошло и года, как Зиновий, который пришелся Горькому по душе неистощимой веселостью и редкой артистичностью, сделался своим человеком в доме писателя. Горький и посоветовал Зиновию Свердлову поступить в школу-студию МХТ. Увы, Зиновию как еврею жить в Москве не разрешалось. Впрочем, этот весьма честолюбивый юноша не был обременен всякими там предрассудками. Он задумал креститься, а Горький это его решение одобрил. Он даже предложил Зиновию стать его крестным отцом и дать ему свою фамилию. Так Золомон Свердлов, приняв православие, мигом превратился в Зиновия Александровича Пешкова и уехал в Москву, где и поступил в театральную студию.

Но теперь ему предстояло отслужить в царской армии, чего он по идейным соображениям делать не хотел. Не долго думая, он эмигрировал из России в Канаду, но не нашел там ни надежного пристанища, ни работы. Не мудрено, что через три года он перекочевал в Италию, на остров Капри, к своему крестному отцу. А там Горький вскоре сделал его своим

секретарем и переводчиком.

Остроумный, находчивый, неутомимый танцор и запевала, этот невысокий, узкоплечий молодой человек со временем стал душой общества в русской колонии на Капри. Зиновия Пешкова, как и многих интеллигентов в первом поколении, всегда тянуло к дамам из аристократических семей. Женился же он в 1910 году неожиданно для всех на молоденькой дочери казачьего офицера, крупной, статной девице с приятным округлым лицом и белоснежной россыпью зубов. Звали ее Лидия Петровна Бураго. Красотой и здоровьем Бог ее не обидел, а вот на ум, похоже, поскупился. Возможно, еще и оттого ее семейная жизнь с Зиновием Пешковым не заладилась, и через пять лет они расстались.

Едва началась первая мировая война, как Зиновий уехал во Францию, где вступил в Иностранный легион и вскоре из православия перешел в католичество. Ну а Лидия Бураго с четырехлетней дочкой Лизой осталась на Капри.

Горький, в общем-то к людям снисходительный, отзывался о молодой жене своего крестного сына не слишком лестно. Екатерине Павловне Пешковой он писал в Москву: «Поздравление твое передал. Зиновий тронут, кланяется. Сказать что-либо о его жене трудно. Девица высокого роста, не дурно сложена, много смеется, не очень интеллигентна, видимо…»

И Зиновию и Лидии нравилось жить на широкую ногу, хорошо одеваться и вкусно поесть. Увы, это и оказалось тем немногим, что их объединяло. После развода Лидии Бураго пришлось на Капри нелегко, хоть бывший муж регулярно присылал из Франции деньги ей и дочке.

Пришлось Лидии искать работу, и она перебралась в Рим, где у нее были друзья, готовые ей помочь.

Наверно, от родных Лиза Пешкова унаследовала любовь к изысканно-экстравагантной одежде и к вечерам в лучших ресторанах. Воздыхателей у молодой, красивой, быстрой на шутку и незлой розыгрыш девушки было пруд пруди. Будоражило их ум и фантазию и ее экзотическое происхождение — русская девушка, владевшая итальянским куда лучше, чем русским, да и по внешности типичная итальянка.

Елизавету Пешкову, как некогда ее отца, неотразимо влекло к людям высшего света, к славе и блеску салонов. Замуж она, однако, вышла за скромного второго секретаря советского посольства в Риме, где сама Лиза работала переводчицей. Муж ее, Иван Марков, милый молодой человек, не слишком начитанный и не обладавший светским лоском, при близком знакомстве подкупал своей честностью, искренностью, бескорыстием. Он

отнюдь не был занудой и домоседом, тоже любил потанцевать, отужинать в ресторане и легко сходился даже с чопорными, надменными князьями и графами. Для советских дипломатов того времени, до предела зажатых, словно бы замороженных, это было большой редкостью.

Семейная жизнь двадцатитрехлетней Лизы Пешковой и двадцативосьмилетнего Ивана Маркова складывалась воистину счастливо.

Нет, ни сам Иван Марков, ни моя бывшая преподавательница Елизавета Маркова-Пешкова вовсе не были ангелами во плоти. Случилось с Лизой однажды и такое. В 1937 году, уже став советской гражданкой, она вместе с мужем, Иваном Марковым, пошла как-то в Риме в ночное кафе. И надо же было ей встретить там своего отца, Зиновия Пешкова, невозвращенца в Союз, офицера французского легиона. Весь вечер она сидела, повернувшись к нему спиной, пока отец, оказавшийся за соседним столиком, не встал первым в ярости бешеной и не ушел из кафе.

Но потом Елизавета всю жизнь стыдилась своего трусливого поступка. В ней, вообще, причудливым образом сочетались наглость и скромность, цинизм и наивность, надменность и подкупающая простота. Однако матерью и женой она была нежной и заботливой, что в семейной жизни, верно, главное.

В 1935 году Лизочка подарила мужу первенца-сына, а в конце 1937 года Ивана Маркова вместе с семьей вызвали в Москву, где его ждало повышение по службе.

Новый, 1938 год они встретили уже в московской квартире. Собралось много гостей, стол блистал обилием еды, итальянского вина и, разумеется, русской водки. Пели, беззлобно подшучивали друг над другом и над «высоким начальством» — товарищем Марковым. Правда, сам Ваня был мрачен и на поздравления друзей отвечал вымученной улыбкой, вспоминала спустя годы Елизавета Зиновьевна. Он словно предчувствовал, что Новый год принесет ему больше бед, чем радостей.

Реальность превзошла все его невеселые ожидания. Третьего апреля того же 1938 года Ивана Маркова арестовали, а спустя два месяца, после закрытого процесса-фарса, расстреляли как агента итальянской разведки ОВРА.

В конце апреля арестовали и саму Елизавету Зиновьевну как жену врага народа. Следователь предложил ей написать донос на мужа, этого двурушника и ренегата. Она всем сердцем осуждает его подрывную деятельность, навсегда от него отказывается и просит изменить ее фамилию Маркова-Пешкова на Пешкову. В случае ее согласия приговор гласил бы: «За потерю политической

бдительности» — и был бы сильно смягчен. К чести этой мужественной женщины, она от мужа не отреклась и донос не подписала. За что ей и выбили на допросах половину зубов, а затем отправили на долгих десять лет в лагерь.

Не знаю, спасет ли красота мир, как писал Достоевский, но вот Елизавете Зиновьевне ее красота, женское обаяние и душевная теплота жизнь спасли дважды.

В нее влюбился, и вовсе не без взаимности, начальник лагеря. Влюбился столь безоглядно, что отважился на неслыханный по тем временам поступок. Уже через три года пребывания Лизы в лагере он отправил ее на поселение, а затем и вовсе добился ее освобождения.

Произошло это маленькое чудо сразу после войны, когда дальновидный палач Лаврентий Берия уговорил Сталина выпустить из лагерей и тюрем несколько тысяч из миллионов узников Гулага. Таким манером он собирался задобрить недавних своих союзников по антигитлеровской коалиции. В число немногих счастливцев стараниями начальника лагеря попала и Елизавета Зиновьевна. Больше того, он «выправил» ей чистый паспорт с правом вернуться в Москву. Только вот к кому ехать, если ее никто не ждет и квартира московская давно конфискована? Да еще на руках у нее двое ребят — второй сын родился после ее ареста, уже в лагере.

И тут судьба вновь ее пригрела. Московские друзья устроили ей встречу с генералом Николаем Николаевичем Биязи.

До войны он был советским военным атташе в Риме и хорошо знал своего коллегу Ивана Маркова, мужа Лизы. Сам Биязи, получивший в молодости отменное образование, обладал широким кругозором и немалым опыта. Он прекрасно знал итальянский и греческий языки и дружил с генералом Игнатьевым, потомственным русским аристократом. Оба они не верили ни одному слову официальной пропаганды. Кто-кто, а уж начальник нашего ВИИЯ генерал Биязи прекрасно знал истинную цену всем этим показательным процессам над врагами народа.

И все же он вряд ли решился бы принять на работу в закрытый военный институт жену расстрелянного органами безопасности итальянского «шпиона» — слишком велик был риск. К счастью, наш генерал, осколок прежней русской интеллигенции, обладая добрым сердцем, проникся к Елизавете Зиновьевне живейшей симпатией. И опять Лизочка разделила целиком нежные чувства своего нового покровителя.

Любовь к молодой, неотразимо обаятельной женщине взяла верх над спасительным страхом. Можно смело сказать, что Николай Николаевич Биязи оказался человеком чести и

рыцарской отваги. Своей властью он назначил Елизавету Зиновьевну преподавателем итальянского и французского языков. Но и это еще не все — одновременно он выделил ей двухкомнатную квартиру. Таким вот образом мы и получили в 1945 году новую «училку», меньше всего похожую на непреклонно-суровую воспитательницу молодежи.

К несчастью, в своем стремлении по возможности облегчить жизнь Елизавете Зиновьевне наш генерал перестарался — в начале сорок восьмого года он порекомендовал ее еще и на работу в ТАСС. В отделе кадров единственного официального агентства печати и лживых новостей, на Лизино горе, сидели люди сверхбдительные. Они-то и докопались до «преступного» прошлого недавней ссыльной Марковой-Пешковой.

По этой самой причине, когда я, лежа на госпитальной койке, с трудом открыл глаза, то увидел стоявшую у моего изголовья Лизу. Она не таясь плакала, а мой отец гладил ее по плечу и ласково уговаривал:

— Ну зачем вы так, милая, может, все еще обойдется.

Тут уж я окончательно пришел в себя и подумал: «И впрямь, чего это она плачет, ведь я еще не умер. Авось как-нибудь выживу». Слабым голосом поздоровался с Лизочкой и сказал ей:

— Спасибо, что навестила, — мы к тому времени перешли на «ты», — но как ты узнала про мою болезнь и про госпиталь?

— Зашла к Маше, и она мне сказала. Но я не думала, что тебе так плохо. — Вздохнула, платком утерла слезы. — Ты с Кобуловым часто видишься? — вдруг спросила она.

— Неделю назад, еще до госпиталя, на футбол вместе ходили, а что?

И Лизочка рассказала, что накануне ее вызвали в районное отделение милиции. Велели захватить с собой паспорт, объяснив — для перерегистрации. Отправилась она туда безо всякой боязни, милиция ведь не органы безопасности. Встретили ее вежливо, взяли «серпастый молоткастый» и минут через десять вернули. С одним, правда, небольшим дополнением: «минус сто» — и уточнительной записью: без права проживания во всех районных и областных центрах страны. Ну, а «минус сто» означало — Марковой-Пешковой запрещалось селиться в любом городке, расположенном ближе чем в ста километрах от Москвы. Из самой столицы ей приказано было убраться в течение двух суток.

Да, но при чем здесь Кобулов? Такой вопрос мог бы задать лишь тот, кто не жил в те далекие годы в Стране Советов. В Союзе же почти каждый знал, что генерал Богдан Кобулов — заместитель министра грозной государственной безопасности. А

его сын Виктор Кобулов, слушатель ВИИЯ, изучал итальянский язык в параллельной со мной группе. Елизавета Зиновьевна, которую лагерная жизнь многому научила, ублажала Кобулова как могла.

Особым рвением в учебе он не отличался — предпочитал посидеть в ресторане за вином и острыми восточными блюдами. Ничего — не зря же Елизавета Зиновьевна заранее разучивала с ним не только контрольные работы, но и текущие домашние задания. Кутила и картежник, Виктор к концу учебы знал итальянский чуть лучше, чем я неведомый мне турецкий. Разумеется, это не помешало ему получить на выпускном экзамене вполне приличную оценку. Иными словами, своей преподавательнице Марковой-Пешковой он был обязан дипломом целиком и полностью. Ну а дальше его ждала блестящая карьера.

Ясное дело, первым, к кому прямо из милиции помчалась Лиза, был Виктор Кобулов, ее недавний студент.

Принял он свою благодетельницу сухо, а когда узнал о цели визита, просто выставил за дверь. Он, мол, всякими там паспортными делами никогда не занимался и не занимается.

Нас же с Виктором связывала общая любовь к московскому «Динамо». Оба мы были ярыми футбольными болельщиками и порой вместе отправлялись на стадион «Динамо» поддержать свою команду ревом и воплями вроде: «Вася (Карцев), давай, жми!»

Конечно, Лиза прибежала не столько меня проведать, сколько упросить встретиться с Кобуловым-младшим. Может, я все-таки уговорю его вступиться за свою учительницу-репетитора перед суровыми органами. Наивная женщина. Да Виктор и за родную мать вряд ли пошел бы просить, попади она в немилость к МГБ! И потом, я при всем желании не мог даже позвонить Виктору — с каждым часом мне становилось все хуже.

Так, вся в слезах, Лиза ушла из госпиталя, чтобы назавтра с двумя детьми навсегда покинуть Москву. А я тем же вечером вновь очутился на операционном столе. Вторую операцию мне делал опытнейший хирург генерал Березкин. Уже через месяц, удачно заштопанный и подлеченный, я был дома. А еще две недели спустя покатил на поезде к месту новой службы, в город-герой Севастополь.

Лиза Маркова-Пешкова поехала на Кубань, в небольшую станицу к своей давней подруге.

Нет, поистине моя бывшая преподавательница родилась в сорочке. Месяц спустя в эту кубанскую станицу заглянул к матери в гости директор одного из лучших санаториев Сочи. Дальше все развивалось по давней схеме «директор увидел Лизу»… и через

пять дней она уже работала кастеляншей в сочинском санатории. Словно по мановению волшебной палочки у нее вновь появился чистый паспорт, без страшного «минус сто».

Что же до Кобулова-младшего, то впереди его ждали весьма тяжкие испытания. Когда его отца в 1953 году вместе с другими приспешниками Берии приговорили к расстрелу, самого Виктора мгновенно уволили из армии. Здесь ему впервые в жизни пришлось-таки познакомиться с паспортными делами. Он сразу сменил фамилию отца на фамилию матери и удрал подальше от Москвы. Виктор отлично знал, что, вопреки мудрому изречению вождя народов Сталина, сын за отца отвечает, да еще как. А потому он поспешил уехать в самую глухомань и там на время затеряться. И это ему вполне удалась.

Сама же Елизавета Зиновьевна Маркова-Пешкова умерла в приморском Сочи в 1990 году. Было ей тогда семьдесят семь — возраст вполне почтенный. Но при ее великой жизненной силе, отменном здоровье и удачливости она вполне могла бы прожить, верно, и все девяносто, если бы не Гулаг. Да будет ей сочинская земля пухом!

Глава третья

Приехал я в Севастополь после полудня, вышел с вокзала на широкую улицу и неторопливо двинулся к центру, где находился штаб флота. Шел и удивлялся. Кто и зачем выдумал, будто немецкая авиация и артиллерия до основания разрушили весь город? Разве нацисты и без того не совершили немало чудовищных зверств? Лишь когда пригляделся, увидел, что очень многие дома без крыш — одни стены торчат. К тому времени стройбаты центр города сумели восстановить почти полностью. Ну а домишки на окраине города в основном уцелели. В одном из таких домиков из серого известняка я и снял комнату с кухонькой. Хозяйка наша работала на железной дороге проводницей, и это потом сильно облегчило мне жизнь. После каждой служебной поездки Варя привозила мешок-другой картошки и продавала ее соседям и мне по вполне сходной цене. При моем-то скромном жалованье роскошествовать особо никак не приходилось. Разве что провести с друзьями воскресный вечер в ресторане «Приморский». После однообразной, нудной работы в радиоотряде это было для меня почти единственной радостью, от которой отказаться я просто не имел права.

Впрочем, служба моя продолжалась всего пять месяцев, а затем пришел приказ из Москвы. Мне надлежало явиться в Главный штаб Военно-морских сил. И вот сижу я вместе с недавними моими однокурсниками Женей Подколодным и Мишей Китом и думаю: а Лени-то Капелюша нет с нами и быть не может. А ведь он был в нашей группе лучшим учеником.

Когда Леню не взяли в отдел репатриации военнопленных, я решил, что он просто не глянулся тамошнему начальству. Скорее всего, им не понравилась его горделивая осанка и самоуверенный тон.

Все и впрямь обошлось бы для Лени легким испугом, если бы он не жаждал сделать блистательную военную карьеру. Для начала он задумал стать секретарем партийной организации нашего факультета.

На каждом партийном собрании Леня вставал первым и начинал обличать сокурсников. Они-де вяло ведут партийную пропаганду и недооценивают всю грандиозность задач, стоящих перед страной и нашей доблестной армией. Ребята, конечно, гневно ему возражали, но дело было сделано — он снова отметился.

После этих бурных собраний он обычно приходил ко мне, беспартийному, не больно-то честолюбивому сокурснику, домой,

садился в старое кресло, и мы начинали резаться в шахматы.

Однажды во время игры он с лукавой улыбкой сказал мне:

— Подожди, настанет день, и ты увидишь меня на трибуне мавзолея.

Уж тут я не удержался и парировал:

— Не больно ли ты сильно разбежался, друг мой закадычный? Так ведь можно споткнуться, упасть и удариться головой об асфальт.

— Ты как был дураком, так им и остался, — изрек Леня. — У нас падают те, кто движется вперед шажочками… Тебе шах.

Увы, он все-таки чересчур торопился. А главное, вовсе не пытался скрывать, какой он остроумный, находчивый, начитанный. И, что совсем непростительно, не утаивал свои редчайшие достоинства от нашего начальства. Особенно он раздражал заместителя начальника факультета по политчасти полковника Мудрого. «Блиставший» умом из-за одной лишь фамилии полковник нередко ощущал себя серым валенком, беседуя с этим лейтенантиком Капелюшем. Думал он, думал, как проучить нахального курсанта, и наконец вспомнил приятненькую подробность. Недавно этого Капелюша (кстати, кто он? еврей, украинец?) в отдел репатриации не взяли.

Нюх у полковника Мудрого был получше, чем у гончего пса. Стал он рыться в Лениных документах, сделал несколько запросов куда надо и, получив ответы, возликовал. Во-первых, никакой он не украинец, а чистокровный еврей. Но что куда важнее, отец его вовсе не работал на Дальнем Востоке и там перед войной и умер. На самом деле его в 1939 году как неисправимого троцкиста расстреляли. Мать же Капелюша мигом отправили в ссылку. Да таких якобы верных коммунистов надо не поощрять, а к стенке ставить!

К счастью, время массовых репрессий миновало, год-то был уже 1948, и Леню Капелюша даже не арестовали. Всего лишь выгнали из нашего института да исключили из партии.

За день до факультетского партийного собрания пришел ко мне домой мой сокурсник Миша Кит. За ужином с мрачным видом сказал, что он лично выступит против исключения Лени из партии. Он был на фронте, храбро сражался и даже награжден боевым орденом Красной Звезды. Хватит с него вполне и строгого выговора с предупреждением. Неисправимый скептик, я ему на это ответил:

— Какая, Мишуня, смелость с твоей стороны. Да у тебя не хватит духу не то что выступить, а проголосовать против его исключения. Головой ручаюсь.

— Свою рыжую голову держи при себе — глядишь, со

временем пригодится, — парировал Миша. — Поспорим на бутылку коньяка, понятно армянского. — И после короткого раздумья добавил: — Выступать мне и впрямь не стоит. А вот против исключения Лени из партии я уж точно проголосую.

«Ладно, спорим, — решил я. — Эх, как бы мне хотелось проиграть».

Сразу же после закрытого партийного собрания подбежал я к Жене Подколодному.

— Ну как?

— А так. Исключили нашего Леню из партии.

— Единогласно?

— А ты что думал? Кому же охота опосля самому с партийным билетом расстаться!

Вечером на пути домой подошел я к Мише Киту и сказал тихонько:

— Спор-то ты, Мишуня, увы, проиграл.

— Понимаешь, тяну я руку из кармана, а она, черт побери, не вылезает, и все тут, — пробормотал Миша.

И такой у моего Мишуни был несчастный, потерянный вид, что не хватило у меня духу и дальше упрекать его в трусости. Кто знает, как бы я сам поступил, окажись на его месте.

До конца учебы оставалось всего два месяца, но Леониду защитить диплом так и не разрешили.

Сдал я последний экзамен и, понятное дело, решил отметить столь приятное событие домашним выпивоном. И тут позвонил Леонид — сказал, что хотел бы поздравить меня «с получением высшего образования». Пришел, пожелал мне за рюмкой водки дальнейших успехов на ниве переводческой, а потом стал оплакивать свою судьбу. Да на том не остановился, а принялся громко так поносить МГБ. Я аж похолодел от ужаса.

— Лень, стены-то тонкие, не дай Бог соседи услышат.

Но Леонид завелся, и удержа ему уже не было.

— Тоже мне мудрые карательные органы! — ярился он. — Сами себе на ровном месте врагов создают. Ладно, мой отец в молодости и впрямь примкнул к троцкистам. Значит, человека за это надо к стенке ставить? Взяли, однако, и расстреляли. Хорошо, а мать моя здесь при чем? Она-то о заговоре троцкистов и вовсе из газет узнала. А ее раз… и в ссылку. Ну а теперь за меня взялись. Только со мной этим собакам…

— И с тобой за милую душу расправятся, если и дальше будешь охаивать наших доблестных чекистов. Ты что, спятил! Скажешь одному, другому, а третий помчится прямиком в МГБ, если уже не помчался.

— Надеюсь, первым сексотом ты все-таки не будешь, —

достало у Лени сил пошутить.

— Первый ничего не видел и не слышал. Но у тебя язык без костей. Ты ведь не уймешься. Неужто не понимаешь, в какой стране живешь?

— Плевать я на них хотел, на этих псов гончих. Э нет, меня… — и осекся, сообразив наконец, что стена-то ненадежная и это всего-навсего коммуналка с пятью разными семьями.

Много позже, в послесталинском 1957 голу, пришел ко мне в Настасьинский переулок мой друг, итальянский славист Анджело Мариа Рипеллино. И прямо с порога попал в кухню, где вовсю дымились кастрюли и чайники. Уборная же была на все пять семей одна. Оглянувшись с видимым испугом вокруг, Анджело прошептал, невольно закрыв глаза:

— Лев, это что, твоя гарсоньерка? Так ведь сюда и приличную любовницу приводить стыдно. Неужели ничего получше найти не мог?

Тут в кухню вошла моя жена Муся, любезно поздоровалась с гостем и через отдельный коридорчик провела его в нашу комнату. По высоченным потолкам и камину нетрудно было догадаться, что прежде дом принадлежал богатому господину. Так оно и было — до октября семнадцатого года домом владел глава крупного банка. Пять нынешних комнат были тогда гостиной, где хозяин каждую неделю устраивал пышные приемы для именитых гостей. Садились они у мраморного камина и заводили умные разговоры о судьбе России.

Судьба владельца банка сложилась довольно удачно. Дом он сразу после революции, понятно, потерял, но сам уцелел, успев уехать за границу.

С той поры прошло добрых тридцать лет. Теперь у камина сидели не дворяне и купцы, а мы с Леней Капелюшем. Уже вполголоса он продолжал жалеть себя и проклинать полковника Мудрого — чтоб его понос прохватил и больше не отпускал!

На прощание Леонид клятвенно пообещал мне держать язык за зубами. Отныне с приятелями и друзьями он беседовать будет только о футболе, погоде и девочках.

Но вскоре о своем обещании он напрочь забыл. В кругу самых близких верных друзей стал снова почем зря честить «этих вшивых эмгебистов — развелось их на Руси видимо-невидимо».

Один из «верных» друзей донес куда надо, и через неделю Леню арестовали. После коротенького суда получил он свои десять лет «за клевету на советские карательные органы» и отбывал их в одном из сибирских лагерей.

Домой в Москву он вернулся через семь лет, уже после смерти Сталина, и был полностью реабилитирован. Блистательно

окончил архитектурный институт и стал работать в архитектурной мастерской. Снова зачастил в свой любимый ресторан «Арагви».

А еще через три года умер от рака желудка. Знаю, читал, что врачи отрицают прямую связь между жизненными потрясениями и этой страшной болезнью. Все равно, убежден, что убили Леню Капелюша совместными усилиями тюрьма, лагерь и рак.

Но все это произошло уже после весьма своевременной кончины вождя народов Иосифа Виссарионовича.

Тогда же, в сталинском сорок девятом, адмирал военно-морского штаба объяснил нам, группе моряков и переводчику лейтенанту Вершинину, что мы из Москвы поедем через Прагу в столицу Италии Рим. Затем доберемся до порта Остия, а оттуда уже на корабле поплывем в Неаполь. Ясное дело — не любоваться там ночными фейерверками, а чтобы принять итальянский эсминец. Каковой Италия, проиграв по милости Бенито Муссолини войну, отдавала нам в счет репараций. После ремонта миноносцу предстояло пересечь Средиземное море и через Босфор и Дарданеллы выйти в море Черное. Конечной же целью нашего плавания была Одесса.

Через день вся наша группа получила новенькие штатские костюмы, сели мы в купе новенького поезда и поехали в Прагу. Сидим себе, беседуем чинно-мирно, и вдруг немолодой, усатый чех обращается к нам с вопросом на чистом русском языке:

— Вы что — советские военные моряки?

Вот тебе и на! Битый час нам в штабе втолковывали, что вплоть до прибытия в Рим мы являем собой делегацию торгового флота, и уже в начале пути нас «разоблачили».

— Откуда вы взяли, что военные? — со злостью спросил глава нашей группы Валентин Колесников.

— Так вы все в одинаковых чешских костюмах. Серых, двубортных, — охотно объяснил чех. — Одна такая делегация недавно в Прагу уже приезжала.

— Нет, мы люди штатские, — угрюмо отозвался мой новый приятель, старший лейтенант Петя Маслов.

— Конечно, конечно! И все до одного в штатских костюмах, — с улыбочкой подтвердил чех. И поймав взгляд нашего командира, торопливо поинтересовался: — Ну как там Москва? Ведь я в ней часто по делам бываю.

— Растет и крепнет, — отрезал Петя. На этом сей «дружеский» диалог и закончился. На шестые сутки мы добрались до Рима и прямо с вокзала поехали в наше посольство. Где нас опять предупредили и вразумили, каким здесь нужно быть бдительным. Притом каждую минуту и в любом месте. Ведь

Италия кишмя кишит агентами ЦРУ и их итальянскими пособниками. Ходить по улицам можно только группой. А если кому по нужде надо, то у туалета двое всегда должны стоять на страже.

Мои морячки от столь страшных вестей совсем ошалели — боялись нос из гостиницы высунуть. Меж тем я упорно подбивал их сходить в Ватиканский музей.

На стенах там висят лишь картины великих художников прошлого, так что бояться каких-либо провокаций не приходится. На успех своего начинания я не больно-то надеялся, но ребята неожиданно согласились. «Хоть по улицам пройдемся да на витрины магазинов поглазеем. А заодно и на твоих Мадонн поглядим. Тоже любопытно».

Увы, в музее гид сильно озадачил меня самого.

— Вы, конечно, русские беженцы? — без тени сомнения спросил он.

— Почему вдруг — советские граждане. А что здесь, собственно, необычного? — наигранно удивился я.

— Да за последние девять лет вы здесь первая советская группа.

— Неужто первая? Что-то не верится.

— Ну, полгода назад приходил сюда секретарь вашего посольства с господином. Но они оба хорошо говорили по-итальянски и в моей помощи не нуждались. А правда, что у вас не только квартиры, но и жены общие? — без всякого перехода поинтересовался он.

— Жен у нас в стране строго по одной на каждого мужчину, — с победной улыбкой ответил я.

— «Унита» то же самое пишет. Так это же чистой воды пропаганда!

Начальник наш слово «пропаганда» ухватил и стал громко мне выговаривать:

— Какого черта ты с этим фашистом разболтался, болван?

К несчастью, слово «фашист» понял гид. Он весь побагровел и закричал:

— Я фашист? Да я партизаном был, с ними сражался!

Международного скандала все же удалось избежать. Я объяснил гиду, что мой начальник от души радуется тому, что наци-фашисты при отступлении не взорвали этот удивительный музей.

На улице наш командир объяснил мне — если я еще раз поведу их в эти чертовы музеи, где полно всяких умников, Москвы мне больше не видать. Настал, слава Богу, день, когда мы отплыли из Остии в Неаполь. Мой бывший преподаватель

Вальтер-Мизиано рассказывал нам об этом изумительном приморском городе. После чего у меня сложилось такое о нем представление — там почти все чудесно поют, играют на гитаре и мандолине и часто устраивают шумные карнавальные шествия.

Неаполитанский порт с его величественным «Кастель дель Ово» встретил нас, однако, вовсе не музыкой и песнями, а огромной меловой надписью на стене этого замка: «Дураков у нас нет».

Не скрою, столь самоуверенное заявление немало меня удивило — что это за город, где живут одни умники?

Не прошло и месяца, как я убедился воочию, что Неаполь и в самом деле город веселых, находчивых людей. Они умеют наслаждаться жизнью даже тогда, когда нет денег на обед и не знаешь, что тебя ждет завтра.

Двадцать пять лет спустя, в семьдесят третьем году, я встретился в Риме со знаменитым итальянским драматургом Эдуардо Де Филиппо. И ко времени этой встречи я уже был способен оценить его слова:

— Дорогой Лев, мои пьесы не итальянские даже, а неаполитанские. Понять их могут только мои сограждане. На другой язык, по-моему, они вообще непереводимы.

— Однако у нас, в Союзе, твои комедии знают лучше даже, чем многие пьесы советских драматургов. К примеру — ту же «Филумену Мартурано», — возразил я.

— О, можно лишь позавидовать, как в театре Вахтангова сыграли в этой моей пьесе Цецилия Мансурова и Рубен Симонов! — отозвался он.

— Нет ли в твоих словах, Эдуардо, серьезного противоречия?

— Ну, Россия — вообще страна сплошных противоречий! — воскликнул Де Филиппо. — Смотри, у вас трудно купить хороший костюм и красивый галстук. В то же самое время в Москве великолепное метро, фантастические небоскребы, и везде чудесные дороги.

Я кисло улыбнулся.

— Прямо-таки везде?

— По крайней мере в Москве, — поправился Де Филиппо. — А главное — вы страна, где очень любят книги, кино и театр. Вот и на моих гастролях в Москве ни одного свободного места не было.

— На «Мэра района Санита» лишний билетик за полкилометра до входа спрашивали, — подтвердил я.

— Видишь! — возрадовался Эдуардо. — Только и это еще не все. Знаешь, что меня особенно удивило?

— Очереди?

— Вовсе нет, Лев. Во время войны в Неаполе за хлебом еще и не такие очереди были. Поразили меня ваши люди, их спокойная уверенность, да и страха потерять работу у них нет. Ты же сам видел, многие неаполитанцы до сих пор не имеют работы, постоянной, надежной. Правда, далеко не все мои сограждане рвутся работать, — с улыбкой заключил он.

Вот когда я понял, что советская пропаганда не столь уж и примитивная. Ведь даже такой наблюдательный человек, как Де Филиппо, ей поверил.

Но свой родной Неаполь он и в самом деле знал «как свои карманы». И он тысячу раз был прав, говоря, что понять душу этого уникального города туристам не дано. В нем надо пожить, и долго. Похоже, только в Неаполе мирно сосуществуют трудолюбивые ремесленники, строительные рабочие, моряки и главари каморры, честные торговцы и наглые обманщики.

Что верно, то верно — многие неаполитанцы физический труд не любят и не уважают, предпочитают ему мелкую контрабанду, а порой и беззастенчивый обман. С каким, однако, изяществом они оставляют тебя в дураках!

Приведу для наглядности лишь один эпизод, случившийся со мной лично.

На узкой, круто идущей ввысь виа Толедо в том бесконечно далеком сорок девятом году торговал одеждой черноволосый, высокого даже для северян роста парень. Хотя в магазине напротив цены были чуть ли не на четверть ниже, торговля шла весьма бойко. Стало мне любопытно, каким таким способом малый этот привлекает покупателей. Подошел я к нему и спросил: «Сколько стоит вон тот костюм спортивного покроя?» Он назвал цену, и я сказал, что для меня это слишком дорого. Хотел уйти, но не тут-то было. Парень схватил меня за руку и принялся громовым голосом убеждать:

— Примерьте, синьор. Хуже ведь вам от этого не станет. А я на глаз вижу — костюм вам на редкость к лицу.

Еще минуты три мы поторговались, а потом я сдался. Примерил костюм, сунул руку в карман и… нащупал там часы. «Сказать — не сказать»? После недолгих колебаний я все-таки вытащил часы и промычал:

— Может, костюм кто до меня примерял и забыл часы.

— О Боже, это мой друг Пьетро! Вы даже не представляете себе, как я вам благодарен. Отнесу их сегодня Пьетро, и он будет вне себя от радости, — затараторил юный продавец. На секунду умолк, а потом деловито осведомился: — Ну, так берете костюмчик? Поверьте мне на слово — жена полюбит вас во сто крат больше.

— Жены у меня пока нет, а костюм мне, увы, не по карману.

— О, для столь приятного синьора я охотно сделаю скидку, — не сдавался торговец, — три тысячи лир — и костюм ваш.

— Ладно, подумаю. Но в любом случае вернусь, — сказал я и стал торопливо спускаться к порту.

Потом, уже в гостинице, попивая обжигающе горячий чай, я внезапно подумал, что в Неаполе воистину дураков нет. Ведь как все тонко и мудро просчитал паренек с виа Толедо! Покупатель сует руку в карман пиджака, а там часы. После короткого замешательства иностранец — покупали у него в основном иностранцы — решает, что он совершил выгоднейшую сделку. Возвращается он с обновкой в гостиницу и лишь тогда обнаруживает, что часы-то — грошовая штамповка. Ан дело сделано.

На другой день, как и обещал, пришел я снова на виа Толедо и без обиняков спросил у хитреца:

— Сколько человек тут же на улице возвращают тебе часы?

— Один из десяти, — ничуть не удивившись моему вопросу, ответил продавец. — Так берете костюмчик? Вам продам его почти без магазинной надбавки.

Костюм я купил и нимало о том не пожалел — за такое представление не грех и немного переплатить.

К великому сожалению, многие итальянцы Севера видят в неаполитанцах сплошных воров, контрабандистов и мошенников. А вот если бы северяне почаще смотрели предельно честные, без малейших прикрас пьесы Эдуардо Де Филиппо, глядишь, они свое априорное суждение вскоре бы изменили.

Последний раз мы встретились с Де Филиппо в 1987 году в Риме. Со мной хотела поехать и Луче д'Эрамо, прекрасная писательница и редкой доброты человек.

Я удивился:

— Зачем тебе сразу после тяжелого гриппа ехать к нему домой?

— Знаешь, Лев, жить в одном городе с великим Де Филиппо и ни разу с ним не встретиться — просто дико, — с подкупающей искренностью ответила она.

Позвонил я из ее квартиры Эдуардо, и к телефону подошла его жена, синьора Изабелла, молчаливая, по-королевски величественная женщина. Она сказала, что, увы, Эдуардо приболел и нельзя ли отложить встречу дня на три. Но когда узнала, что назавтра я улетаю в Москву и хотел лишь дать Де Филиппо том его пьес, изданный «Искусством» и составленный мною, сказала: «Подождите минуту».

Посовещавшись с мужем, она пропела в трубку:

— Леоне, приезжайте, будем рады снова повидаться с вами.

Луче из деликатности, по мне так даже чрезмерной, решила со мной не ехать.

— Раз он болен, двоих ему не снести, — невесело пошутила она.

Де Филиппо я нашел сильно постаревшим и словно бы съежившимся. За столом он сидел, понуро горбясь, и чашка дрожала у него в руке… Прежнего юмора и ясности ума он, однако, не утратил ни на йоту. За обедом я спросил, не собирается ли он снова приехать в Москву. Друзья ждут его с огромным нетерпением.

— Какая там Москва? — воскликнул Эдуардо. — Да я до Флоренции добраться не могу. А ведь там у меня своя театральная школа. Хочется же оставить после себя наследников.

— Разве Лука не твой наследник и продолжатель дела? — спросила Изабелла с некоторым удивлением.

— Какой разговор!.. Он мой законный, любимый сын. Прекрасный актер и драматург. — Тут Эдуардо сделал паузу. — Но он вовсе не мой творческий наследник. Вообще, Изабелла, дети актеров не больно-то любят идти по стопам отцов. Ну, и чего скрывать, быть сыном знаменитого Эдуардо Де Филиппо не столь приятно, сколь тяжело.

— Пожалуй, ты прав, — со вздохом согласилась синьора Изабелла — она была мачехой Луки.

Потом я вручил Эдуардо переведенный на русский язык большой сборник его избранных пьес, попрощался и хотел уйти.

— Подожди, — остановил меня Де Филиппо. Тяжело ступая, он подошел к книжной полке, вынул томик своих пьес и стихов, сделал надпись и протянул его мне со словами: — До встречи в Москве, Леоне. Ты сам сказал, что у меня там много настоящих друзей. А с друзьями, пока ты жив, надо видеться как можно чаще. Так что ждите и надейтесь.

— Тьфу, тьфу, тьфу! — воскликнула его суеверная жена.

Девять месяцев спустя я узнал из газет о смерти Эдуардо Де Филиппо. Ушел в мир иной блистательный драматург, режиссер и неповторимый актер.

Со времени его смерти прошло больше пятнадцати лет. Но по-прежнему не только в самой Италии, а и во многих других странах его пьесы идут и собирают полный зал. Смотрят их люди и понимают, что Неаполь — это не только Санта-Лючиа, Везувий, чудесная пицца, нежные песни под звуки гитары, но и город, где жил и творил замечательный драматург XX века Эдуардо Де Филиппо.

Глава четвертая

В Неаполе, тогда еще не обезображенном ни высоченными домами-монстрами, ни ямами на асфальте, ни пепельной гарью бесчисленных машин, нам предстояло прожить три месяца. А пробыли мы там целых пять. Первые послевоенные годы в полуразрушенном городе даже морякам не платили — почти весь торговый флот стоял на приколе. Поэтому портовые рабочие вовсе не спешили закончить ремонт нашего эсминца. Да и команда, которой поручили вести корабль этот из Неаполя в Одессу, тоже ничуть не горела желанием поскорей выйти в море. Мы и сами-то не слишком рвались домой, но грозный приказ из Москвы заставил моего командира Быкова поторопиться. Когда я перевел просьбу ускорить ремонт капитану корабля, помнится, звали его Энрико, он на звучном неаполитанском диалекте ответил мне классической фразой: «У нас торопятся только в уборную». И добавил: «Вас что, плохо кормят или синьорин не хватает?» Синьоринами американские военные моряки называли тогда припортовых платных девочек. Я промолчал, хотя мог возразить Энрико, что двое наших морячков с помощью одних лишь жестов и слова «аморе» (любовь) сумели завести роман с вполне приличными неаполитанскими девушками. Знал об этой преступной связи и мой командир Быков, но притворялся слепым и глухим. Кормили нас на самом корабле отменно, а пиццу мои моряки полюбили и вовсе как сестру родную. Вечерами мы гуляли по городу, само собой только группой, и даже сходили в оперный театр Сан-Карло на оперу Пуччини «Чио-Чио-сан». Партию несчастной Судзуки настоящая японка с раскосыми глазами прекрасно спела на чистейшем итальянском языке. Словом, развлекались как могли. Ну а двое влюбленных, похоже, готовы были вообще остаться в Неаполе навсегда.

Но, как водится, хорошего понемногу. Настал день, когда наш эсминец снялся с якоря и взял курс на Грецию.

Первые сутки прошли спокойно, и я удивлялся и радовался, что плывем словно не по морю, а по Москве-реке. Впрочем, я и в ту пору был суеверным и сразу себя одернул — чего возликовал, до Одессы-то еще добрых три тысячи миль.

И действительно, уже на рассвете начался шторм, да какой! Волны захлестывали не только палубу, а и капитанскую рубку. А тут еще морская болезнь разыгралась и скрутила меня жгутом. Лежу пластом на койке и пью беспрерывно лимонный сок.

Вдруг в каюту вихрем врывается мой командир Быков, всегда добродушный, участливый, и обрушивает на меня град

ругательств.

— Дрыхнешь тут, болван, а корабль тонет. Вставай, хлюпик городской, слабак чертов!

Как я, цепляясь за ванты, карабкался по мокрым ступенькам трапа в капитанскую рубку, аж вспомнить страшно. Но кое-как дополз.

В самой рубке были капитан корабля Энрико, штурман, рулевой и радист. Энрико, старый морской волк, стоял, широко расставив ноги, и почти непрерывно срыгивал в пластиковый стаканчик. На миг я испытал, признаюсь, чувство тайного злорадства — вот и сам капитан Энрико морской качки не переносит, — но только на миг.

Энрико повернулся к нам и хриплым голосом, негромко и твердо сказал:

— Больше часа кораблю не продержаться, пойдем на дно рыб кормить.

— Так ведь двигатель работает без перебоев, — возразил Быков.

— Вода уже проникла не только в машинное отделение, но и в кубрики, — морщась как от зубной боли, ответил Энрико. — Короче, надо спасать корабль и, главное, самих себя. — Он отер лоб и заключил грозно: — Мы в десяти милях от острова Скирос. Там хорошая, глубоководная гавань и можно переждать шторм.

Я перевел. Быков поглядел на меня с неподдельным испугом, и я его сразу понял. В Греции тогда шла гражданская война, и нас еще в Москве предупредили — в портах Греции ни при каких обстоятельствах не швартоваться.

— Это невозможно, — ответил Быков. — Международное положение, грубое вмешательство в гражданскую войну американцев.

— Ну вот что, — прервал его Энрико. — Даю вам ровно сорок пять минут. Свяжитесь с вашим штабом и запросите разрешения. Бывают обстоятельства более серьезные, чем вмешательство американских империалистов. — И добавил: — Сверим часы — на моих половина третьего.

Выбора не было, и хоть у Быкова душа ушла в пятки, он передал по рации в Одессу просьбу разрешить заход в Грецию. Примерно через четверть часа мы получили ответ — Штаб Черноморского флота дать добро не может. А звонить в Москву, в Генеральный штаб, они из-за такого пустяка не собираются.

Все это, кроме «пустяка», я перевел Энрико.

— Угу, прошло уже двадцать минут, — взглянув на часы, сказал он. — Если не получу в назначенный мною срок согласия, прикажу всех вас схватить, связать и запереть в трюме. Нас,

итальянцев, тридцать два человека, а вас всего девять. Будете сопротивляться, применим силу.

По его лицу нам стало ясно — свою угрозу Энрико выполнит без малейших колебаний. И тогда Быков, рискуя карьерой, а то и жизнью — могли ведь и в измене родине обвинить, — связался напрямую с Москвой. Он потребовал дать кораблю ради спасения всего экипажа разрешение зайти в греческий порт. Не забыл при этом выложить и второй серьезнейший довод — эсминец плывет под итальянским флагом и ведет его итальянский экипаж.

Энрико невозмутимо ждал и, как прежде, регулярно срыгивал в пластиковый стаканчик. С нами он больше не разговаривал, обращался только к рулевому и штурману. До истечения срока ультиматума оставалось пять минут, когда из Москвы простучали морзянкой — ввиду особых обстоятельств разрешение нам дается, запятая, всю ответственность за возможные последствия берет на себя капитан третьего ранга Быков, точка.

Энрико захлопал в ладоши.

— Браво, а я-то думал, у вас в Кремле одни дундуки сидят.

Быков покосился на него, выразительно поглядел на меня и мудро притворился глухим.

Минут через сорок мы уже входили в узкую, словно дверная щель, островную гавань. А еще через полчаса к эсминцу пришвартовался катер греческой береговой охраны. По трапу на борт поднялись четверо греческих военных во главе со старшим лейтенантом.

Энрико без труда уговорил моего капитана и всю нашу команду залечь на время в каютах и в кубрике. На палубе остались лишь Энрико и я, на тот случай, если возникнут политические проблемы трехстороннего характера.

— Чей корабль, куда плывет? — отрывисто, недружелюбным тоном спросил греческий офицер.

— Не видели разве, на флагштоке наш итальянский флаг? — вопросом на вопрос ответил Энрико.

— Так, мы хотели бы осмотреть каюты и трюмы, — не отступался лейтенант.

Энрико понял, что дальше блефовать опасно.

— Мы плывем в Одессу, чтобы сдать корабль советскому флоту, как это и предусмотрено союзным договором. На борту находятся также девять советских технических специалистов. Один из них переводчик, вот он, — Энрико показал на меня. — Но он говорит только по-итальянски.

— Я тоже знаю итальянский, — почти без акцента ответил, впервые улыбнувшись, греческий офицер. — Недаром же вы у нас целых два военных года отдыхали при полном обмундировании.

Он явно подобрел и даже согласился не осматривать корабль. Правда, запретил не только нам, советским морякам, но и всему итальянскому экипажу сходить на берег.

— Да, но мы хотели бы запастись водой и продовольствием, — возразил Энрико. — На сытое брюхо даже тонуть приятнее, — пошутил он.

Офицер-грек шутку не принял и сказал, что воду и продовольствие нам доставят на лодках. И обещание свое вскоре выполнил.

А вот насчет берега он явно переусердствовал. Мы, советские моряки, с корабля на берег вражеской Греции, безжалостно уничтожавшей коммунистических партизан, сошли бы разве что под дулами автоматов. Нет, мы лишь об одном мечтали — поскорее бы утих шторм, чтобы можно было продолжить плаванье.

К утру буря наконец улеглась, и мы снова вышли в открытое море. Словно в награду за наше благоразумие, до самого пролива Босфор грозный Нептун ни шквальным ветром, ни гигантскими пенными волнами нас больше не преследовал.

Зато едва мы миновали пролив, как снова началась буря, да еще похуже первой. И опять я пополз вверх по скользким ступенькам трапа. Боком протиснулся в капитанскую рубку и увидел, что Энрико… молится.

— О, святой Януарий, спаси нас, спаси! Клянусь тебе, если вернусь живым, поставлю десять свечей.

В тот же миг корабль от удара особенно сильной волны резко накренился на правый борт.

— Пятнадцать, двадцать.

Еще одна мощная волна окатила нос корабля.

— Двадцать пять, тридцать, только спаси. Ты же всемогущ, о, святой Януарий!

Похоже, святой Януарий внял мольбам Энрико, и вскоре шторм поутих. К Одессе мы подходили и вовсе в отличную погоду при полном штиле. И снова Быков потащил меня в проклятую капитанскую рубку — передать в штаб флота сообщение о нашем благополучном прибытии. Застучала морзянка, я на миг обернулся и замер, разинув от удивления рот. Капитан Энрико показывал кому-то невидимому кукиш и горячо его убеждал:

— Хватит с тебя, святой Януарий, и десяти свечей, у меня лишних денег не водится. А ты ведь не такой жадюга, как эти генуэзцы, правда?!

Хотел бы я знать, кто еще, кроме неаполитанцев, пребывает в столь простых и грубовато-дружеских отношениях со всемогущим святым, покровителем города? Ну, а что Энрико назвал генуэзцев

жадюгами, так это для южан просто расхожий штамп. Такой же, как для северян убеждение, будто все неаполитанцы шарлатаны и бездельники.

Увы, за сотни лет мы не то что не возлюбили врага своего, но и не научились ладить с ближними иди дальними соседями. Долог и тернист путь взаимного уважения и согласия!

Но в одном я уверен твердо — десять свечей в честь святого Януария богохульник Энрико, как и обещал, по возвращении в приходской церкви зажег. Он был человек слова, неаполитанец Энрико.

В Одессе нас встречали представители военно-морского штаба и городских властей. Тогда даже в этом извечно портовом городе моряки западных стран появлялись совсем не часто. А уж оставались там на несколько суток и того реже.

Но моим итальянцам предстояло передать нашим военным инженерам и техникам всю техническую документацию, а это работа нешуточная. В честь дорогих гостей командование флота дало праздничный обед с обильной едой и выпивкой, а вечером нас повезли в морской интерклуб. Здесь меня ждал огромный сюрприз. Чего-чего, а официальной проституции в Советском Союзе никогда не было. В клубе, однако, за стол с нами, офицерами штаба и моряками-итальянцами, сели молоденькие девушки с такими декольте, что аж дух захватывало.

— Не боись, — успокоил меня мой новый, неотступный ангел-хранитель, эмгебешный капитан Вася Дьяков. — Девчонки — наши, проверенные насквозь и больше, политически подкованные.

При дальнейшем знакомстве я узнал, что «не боись» — любимая присказка веселого гебиста Васи, вкупе с «елки-моталки» и «ё-мое». А девочки тем временем всячески оправдывали оказанное им органами высокое доверие. Они наравне с нами ели и пили, гортанно смеялись неприличным остротам, а когда дорогие гости тискали их, лишь тихонько попискивали. Вскоре я и впрямь перестал бояться — такие бедовые девочки образцово выполнят любое особое задание и ни в постели, ни в рукопашной не подведут.

Мои же итальянские друзья-приятели без устали умилялись — какие милые, культурные и сентиментальные девушки, и притом без глупых предрассудков. Само собой, я не пытался их разубедить — девочки и в самом деле поднаторели в секс-культуре вкупе с напряженной спецработой.

На пятый день мы попрощались с Одессой-мамой, а итальянцы с городом и со своими новыми подружками, сели на вокзале в новенький скорый поезд, и он помчал нас к

пограничной с Румынией станции Унгены. Дальше дорога вела итальянцев в Бухарест, а нас — снова в Одессу. Ехали мы комфортно, в купейных вагонах. Мой ангел-хранитель Вася осушал бутылку красного вина за бутылкой, неизменно приговаривая: «Да изыдет отсюда нечистая сила, а останется чистый спирт. Аминь». Наверно, его предки были из презренного духовного сословия. Подвыпив, он клялся и божился мне, что для него лично и русские, и украинцы, и молдаване, и даже евреи — все равны.

Словом, ехали мы шумно и гладко до самого Кишинева. Но вот поезд подошел к маленькой, серой станции с унылым перроном и неизменными газетным, табачным и пивным киосками. Замедлил ход, остановился. Вместе с четырьмя итальянцами и, конечно же, Васей я спустился на перрон — подышать свежим воздухом.

На соседнем пути стоял товарный состав с широкими вагонами, чьи маленькие квадратные оконца схвачены были прибитыми крест-накрест планками. Внезапно до нас донеслись истошные крики, женский и детский плач и злобный собачий лай. Мы на секунду окаменели — дюжие молодцы с автоматами и с рослыми овчарками на длинном поводке загоняли в вагоны мужчин, женщин и детей.

Некоторые из них, чаще всего женщины, пытались повернуть назад, и тогда солдаты пинали их сапогами или били кулаком по голове.

— Куда их гонят, кто такие?! — с невыразимым ужасом в глазах спросил Энрико.

— Э, да это местные бандиты и воры, — нашелся догадливый Вася.

— И старики, и женщины, и дети?! — воскликнул Энрико.

— А что, — парировал Вася, — разве у цыган такого не бывает? У них дети — первые воришки.

Товарный состав тронулся, и сразу сквозь щели окошек попадали на пути тоненькие листики — записочки.

Больше итальянцы вопросов не задавали и до самой границы ехали молча, угрюмо глядя в пустоту.

В Унгенах мы обнялись на прощание, и моряки-итальянцы во главе с капитаном Энрико поплелись к поджидавшему их чуть поодаль румынскому поезду. От их прежней радости, что скоро они будут в Бухаресте, а оттуда уже и до дома рукой подать, не осталось и следа.

Ту встречу на маленькой станции я да, не сомневаюсь, и они запомнили навсегда. Позже Вася мне популярно объяснил, что проводилось раскулачивание западных молдаван, среди которых

прежде было полным-полно агентов румынской охранки, словом, обычная, необходимая акция. И закончил своим неизменным: «Не боись, и в Сибири хлеб растет и колхозы процветают. А мы свою работу завершили, и это дело не мешает, Левуся, обмыть».

Лишь он ни на йоту не потерял гранитной бодрости и несокрушимого оптимизма. Впрочем, у него была веская причина пребывать в отличном настроении. Местное начальство попросило его остаться в Унгенах на день — обсудить какие-то их чекистские проблемы. Вот он и решил нанести визит в станционный ресторан, где, правда, в преддверии важной встречи принял на грудь всего лишь сто граммов.

Впервые, наверно, я выпил куда больше моего опекуна. Сильно пошатываясь, потащился в кабинет начальника станции, где нас уже ждали два диванчика с чистым постельным бельем. Проспал до самого полудня, а потом вышел на перрон пробежку сделать и тем хоть как-то себя взбодрить. Огляделся вокруг и обомлел — уж не двоится ли у меня с перепоя в глазах?! Непостижимым образом за ночь выросла сразу за путями высоченная дощатая стена ядовито-зеленого цвета, наглухо отделив станцию и вокзал Унгены от самого поселка. Тер глаза, закрывал и открывал их — стена не исчезала. Я стоял и не мог шагу ступить, ошалело ища пограничника — хоть у него спросить, почему и зачем вдруг возник сей гигантский забор.

Выручил все тот же Вася. Прямо-таки рысью примчался он на станцию и, задыхаясь, объявил, что сейчас будут отпевать Георгия Димитрова. Тут я совсем растерялся — с каких это пор у нас главу компартии отпевают? А к станции с легким посвистом подходил паровоз, и за ним с десяток вагонов, все до единого купейные. В одном из таких вагонов в роскошном гробу совершал свой последний путь из Москвы в Софию легендарный вождь болгарских коммунистов Георгий Димитров, скоропостижно скончавшийся в московской больнице после непродолжительной болезни. Как потом утверждали иностранные газеты, болезнь эта заключалась в стремлении создать балканскую федерацию. Об этом своем плане он имел неосторожность доверительно рассказать благодетелю советского и других народов Иосифу Сталину. После чего мигом угодил в больницу московскую, откуда уже не вышел живым.

Везла его на родину правительственная делегация во главе с железным маршалом Климом Ворошиловым. В Унгенах, последней остановке на советской земле, решено было провести траурный митинг.

С этой целью возвели за ночь гигантскую дощатую стену. Боевой нарком и другие партийно-правительственные бонзы

могли ненароком увидеть неказистые, одноэтажные домишки поселян, и это было бы скверной декорацией для красивого театрального действа.

На перроне группами стояли зрители — офицеры-пограничники, чекисты, местное начальство и я с моим ангелом-хранителем Васей, на удивление почти трезвым.

Клим Ворошилов с пафосом стал по бумажке читать, перевирая слова, похоронную речь о верном ленинце и преданном друге нашей страны. А я стоял и сгорал от досады: по собственной глупости попал в западню — попробуй теперь уйти, сразу засекут и покарают беспощадно.

В том четвертом послевоенном году я стал невольным свидетелем того, как ударными темпами, всего за одну ночь, создали потемкинскую деревню.

Что ни говорите, а великому и мудрому усачу Иосифу нельзя было отказать в умении перенимать бесценный опыт показухи у отсталой царской России.

Цепкого и трезвого ума был Тиран и сильно не любил болтунов и фантазеров. О чем мне и напомнил, когда мы уже подъезжали к Одессе, мой гебист-выпивоха Вася Дьяков. Залпом осушив полбутылки сладкого молдавского вина и жмурясь от блаженства, он по-отечески меня предостерег:

— Левуня, не боись. И запомни на всю оставшуюся жизнь. *Чем меньше знаешь, тем меньше забываешь.* Пригодится, интеллигентик ты мой московского разлива.

Изречение сие, как я потом узнал, принадлежало Козьме Пруткову. И я не раз и не два убеждался, насколько оно тонко и верно. Но одно дело понимать умом, а другое — сердцем. Дожив до седых волос, я так и не научился держать язык за зубами, а главное — промолчать в нужный момент. Все равно, я бы и теперь не хотел жить в стране сплошных умников. Надо же кому-то хоть иногда в глупой, детской простоте назвать, как говорят итальянцы, хлеб хлебом, а вино вином.

Глава пятая

Как я ни зарекался больше по морю не плавать, пришел приказ снова отправиться в Италию. На этот раз уже в порт Таранто — принимать там вспомогательное судно «Стромболи». Мне оставалось только покорно ответить: «Слушаюсь».

И вот мы в Таранто, небольшом портовом городе с низкими двухэтажными домами, кривыми улочками, несколькими живописными и шумными базарами и мощным серым зданием Арсенала. Правда, в самой гавани с разводным мостом было тихо. А гражданских никого — там уже тогда стояла эскадра шестого американского флота и находился штаб итальянских военно-морских сил. Допускались туда лишь портовые рабочие, моряки и местные «синьорины», каждая из которых платила охране базы заранее обговоренную сумму.

Да и то сказать, какие секреты могли разведать сии девицы, если американские крейсера и эсминцы охранялись суровыми морскими пехотинцами, а многие военные суда Италии, и среди них краса и гордость флота линкор «Джулио Чезаре», передавались Советскому Союзу. Жили мы, как и в Неаполе, на корабле, кормили нас так же щедро, а солнце по-прежнему не скупилось на свет и тепло. И что для меня было особенно важно, моего нового командира Трушина, как и прежде Быкова, отличали доброта и выдержка. Ко всему нам было даже вольготнее, чем в Неаполе. Ведь Рим с его советским посольством и четырехсторонней Союзной комиссией далеко, да и что ей за дело до какого-то вспомогательного кораблика «Стромболи».

Верно, еще и поэтому мы постепенно утратили бдительность и постоянную боевую готовность. Особенно военный инженер капитан-лейтенант Саша Кузнецов. Он и вовсе до того завольничался, что без памяти влюбился в молоденькую тарантинку по имени Эльда. Мне он под великим секретом поведал о своем романе, когда принялся всерьез изучать итальянский. Прежде всего такие фразы, как «Ти вольо бене, кара» («Я люблю тебя, дорогая») и «Сей бэлла да морире» («Ты чертовски хороша»). По доверительному «ты» и по счастливому его лицу я уже самостоятельно заключил, что роман их зашел далеко. Мало-помалу об этой романтической и преступной любовной истории прознали все мы, семь советских моряков. Принято считать, что в сталинские годы Советский Союз был страной чуть ли не сплошных доносчиков. Между тем ни один из нас не помчался с доносом к капитану Трушину. Мало того, сам он не только покрывал преступника, но и всякий раз выставлял на

ночь караульным у трапа лучшего друга Саши, лейтенанта Чернышева. А что произошло потом, нам и в страшном сне не могло присниться.

Однажды часа в четыре после полудня на наш корабль прибыл вместе со своим адъютантом советский представитель в четырехсторонней комиссии контр-адмирал Степунин. Наш командир лихо и кратко отрапортовал адмиралу о проделанной работе. Мы же, его подчиненные, стояли по стойке смирно и мучительно пытались разгадать, чем вызван этот внезапный визит.

Адмирал, судя по всему, был настроен вполне благодушно. Он собрал офицеров на короткое совещание, дал нам ценные советы остерегаться всех и вся и ни на миг не забывать, что находимся-то мы в капиталистической стране. Да и американцы давно не союзники.

И уже вставая из-за стола, спросил:

— Вас восемь человек, а почему я насчитал лишь семь?

Трушин мгновенно, без малейшей заминки, доложил:

— Капитан-лейтенанта Кузнецова я отправил в город за сигаретами и недостающим продовольствием.

— Больно вы предусмотрительны, кавторанг, — с легким неодобрением сказал адмирал. — Ведь выходите вы в море лишь через три дня. Впрочем, запас не тяготит, — миролюбиво заключил он. — Так когда он должен вернуться?

— К семи вечера, — ответил Трушин, сообразив, что к тому времени магазины в городе закрываются.

— Хорошо, подождем, — сказал адмирал. И поставил у трапа своего адъютанта. Саша вернулся в пять утра, был на палубе молниеносно перехвачен адъютантом адмирала и заперт в своей каюте.

Никогда прежде я не верил рассказам, будто от горя или сильнейших переживаний человек может в одночасье поседеть. Но когда на следующий день увидел Сашу, у него меж густых темных волос пролегла седая прядь. Беднягу заточили в каюту, отобрали у него ботинки со шнурками — как бы не повесился, — брючный пояс, перочинный ножик, часы и вилку. Когда же старшина Коля приносил ему туда обед и ужин, то садился рядом за столик, а в дверях стоял один из офицеров. Даже в гальюн Сашу водили под конвоем.

Перед отъездом в Рим контр-адмирал Степунин вызвал меня к себе в каюту, сам закрыл дверь на ключ и отчетливо, по слогам, произнес, сурово хмуря брови:

— Лейтенант, поручаю вам отвезти в Москву и передать лично начальнику штаба адмиралу Головко крайне важные

секретные документы. Предупреждаю — за их потерю или даже повреждение вы ответите сполна. Так что берегите их, как зеницу ока. Вам все ясно, лейтенант, вопросы есть?

Никаких вопросов у меня не было, да и голова кружилась так, что я при всем желании не смог бы сказать ничего путного.

— Так точно, ясно, — отрапортовал я. — Разрешите идти?

— Разрешаю, — стоя ко мне вполоборота, ответил адмирал. И тем же вечером убыл в Рим.

На этот раз море не мучило нас ни штормом, ни даже сильным ветром, а мы ходили по кораблю чуть пошатываясь и старались не глядеть друг другу в глаза. В Одессе не успели ошвартоваться, как на корабль поднялись по трапу двое особистов и увели капитан-лейтенанта Александра Кузнецова, посмевшего не просто влюбиться в иностранку, но и провести с ней ночь. О дальнейшей судьбе Саши я так ничего и не узнал, и дай Бог, если он отделался пятью годами тюрьмы.

Честно говоря, в те дни я на время забыл о Саше — боялся сам с ходу угодить в лагерь.

Особой аккуратностью я никогда не отличался, но на этот раз превзошел самого себя. Встав утром с койки, я задел тумбочку, на которой лежала коробка с драгоценными документами. Она упала на пол и, о ужас, треснула. Смотрю, из нее выпали… пачки сигарет «Мальборо» и колготки.

Поверьте мне на слово, тогда мне было не до смеха. Ведь я стал обладателем сразу двух тайн — государственной и лично адмирала Степунина. Я на цыпочках прокрался в кубрик и знаками подозвал Колю Чернышева. Тот сразу понял, что к чему, и, сказав: «Ох, ты и растяпа», — принялся за дело. Тщательно заклеил лентой дырку в коробке и протянул ее мне со словами: «Моли Бога, чтобы адмирал Головко оказался близоруким».

В Москве я немедля отправился навстречу грозной опасности — в военно-морской штаб. Доложил адъютанту адмирала о цели моего визита и застыл посреди комнаты. Тоненький, круглолицый адъютант взял коробку и, постучавшись деликатно, вошел в кабинет начальника штаба Военно-морских сил Советского Союза адмирала Головко. Ну а я, лейтенант береговой службы Вершинин, остался ждать своей участи. Прошло минут десять — адъютант как исчез за дверью, так больше и не появлялся. Все, мне крышка, подумал я и даже не ощутил страха — тело словно парализовало, и голова дико кружилась. Не знаю, сколько минут протекло, но вдруг лейтенант вернулся. И судя по выражению его лица, гроза не грянула.

— Разрешите идти? — радостно воскликнул я и, не дожидаясь ответа, двинулся к выходу.

— Подождите, адмирал хочет поговорить с вами лично, — остановил меня адъютант. Я гордо подбоченился и вошел в адмиральский кабинет, вовсе не испытывая священного трепета. Адмирал Головко поднялся из-за стола, совсем не по-уставному протянул мне руку и крепко пожал мою вспотевшую слегка ладонь.

— Благодарю вас за отлично выполненное задание, — сказал он и с лукавой улыбкой добавил: — Вернетесь в Италию, передайте контр-адмиралу Степунину, что присланные им важные документы очень нам пригодились.

После чего отпустил меня с миром.

В Италию я больше не вернулся — расстался с ней, не по своей, разумеется, воле на целых восемнадцать лет.

Но в том далеком сорок девятом я о разлуке не больно-то и горевал. Конечно, просто чудесно увидеть новую, почти недоступную нам тогда страну, поближе узнать ее приветливый, щедрый народ. Да только слишком много наслаивалось на эту радость весьма горьких воспоминаний. Нет, не одна лишь трагическая судьба Саши Кузнецова, но и таинственное исчезновение накануне отъезда другого члена нашей группы, старшего лейтенанта по имени Николай.

Много позже капитан наш Трушин под клятвенное мое обещание молчать аж под пытками открыл мне, что его арестовали по доносу одного из друзей. На прощальном вечере Коля в кругу родных и ближайших друзей сказал, что получил письмо из дому. Мать-бедняжка пишет, что выдают им на трудодень жалкие двести граммов хлеба. Похоже, они совсем дошли до ручки. Многие колхозы дико обнищали и совсем обезлюдели. Кто может, норовит удрать в город. Ну а сам неосторожный Николай поехал помогать колхозникам и колхозницам на лесоповале.

Удручала меня и постоянная слежка, едва ты сходил в Одессе на берег — еще бы, из буржуазного мира прибыл! Пасли нас усердно и неусыпно. Правда, и в Италии — в Неаполе и в Таранто — за нами велась полицейская слежка, но на редкость вяло и неумело. Насколько я знаю, даже в черные времена фашизма тайная полиция Бенито Муссолини действовала неуклюже и без должного рвения. Не далее как в 1991 году моя соседка по столу в доме творчества «Переделкино» Анастасия Ивановна Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой, сама хорошая поэтесса, рассказывала подробно, живо, как она ездила в гости к Горькому в 1927 году в Сорренто. Там, на вилле «Сорито», Горький жил с семьей, в странной полуэмиграции. Она приплыла в Остию на пароходе из Неаполя. На пристани ее встретил плечистый,

темнобородый господин в котелке. Вежливо поздоровался, кликнул кучера, подхватил оба чемодана и понес их к пролетке.

— Вилла «Сорито», Горький? — только и успела спросить Анастасия Ивановна.

— Си, си, вилла «Сорито». — И привез гостью прямиком в префектуру.

Холеный светловолосый и крутолобый синьор долго разглядывал, мучительно щуря глаза под почти квадратными очками, бумаги Анастасии Ивановны. Минут пять он тщетно пытался прочесть и понять хоть несколько слов на этом варварском даже по своему алфавиту русском языке. Потом отложил бумаги и на смеси французского с итальянским спросил:

— Вы зачем сюда приехали, в гости?

— Нет, полюбоваться бель панорама итальяно, — с усмешкой ответила Анастасия Ивановна. Глава префектуры без труда уловил всю издевку ответа и осклабился в любезной улыбочке.

— Ах так! Ну а мы будем любоваться вами, госпожа Цветаева.

Неделю спустя сын Горького Максим сообщил Анастасии Ивановне — наблюдение за ней прекращают.

— Очень приятная весть, но почему вдруг? — поинтересовался Максим у сыщика.

— Дак она даже купаться на море не ходит. Только к вашему отцу на «Сорито» и назад к себе в отель «Минерва», — ответил тот.

Какое все-таки простодушие и какая непростительная наивность! А вдруг это было со стороны Анастасии Ивановны сплошным притворством?! Нет чтобы поучиться у своих немецких коллег, и до Гитлера умевших вести сыск незаметно и высокопрофессионально. А еще лучше — у чекистов далекой России, успевавших следить не токмо за подлинными и мнимыми врагами советской власти, но и друг за другом.

Ну хорошо, на послесталинских процессах чекисты пытались оправдаться страхом перед суровыми карами за невыполнение приказов начальства. Чем же мог оправдать свой гнусный поступок контр-адмирал Степунин? Страхом перед своим адъютантом? Но тот вначале не знал, сколько нас в группе, и вовсе этим не интересовался. Не вижу ничего постыдного и в том, что адмирал из буржуазного Рима посылает другому адмиралу, рангом повыше, но застрявшему в послевоенной нищей Москве, под видом секретных документов сигареты и колготки. По-человечески его можно понять, хоть сам я, пока не сдал сии драгоценные документы, ночами не в силах был глаз сомкнуть.

С той поры прошло добрых пятьдесят лет, и все равно оправдать покойного адмирала Степунина я не в силах. Ведь

великий грех погубить душу человеческую, и, по мне, такой подлый поступок даже мертвому простить нельзя. Как вспомню седую прядь Саши, так снова задаюсь вопросом, почему истинную любовь столь люто преследовали в Стране Советов власть имущие? Не потому ли, что сами знали лишь разврат с блудницами по корысти, а возлюбивших (да еще иностранок) по велению сердца и впрямь считали врагами? И то сказать, какой благонамеренный советский человек стал бы рисковать карьерой, а может, и жизнью, ради какой-то там итальянки, будь она хоть трижды красавица!

Такой, однако ж, нашелся, и если он уцелел вопреки всему, счастья ему и радости хоть на склоне лет. Только мало кто выходил из лагерей Гулага целым и невредимым. Там над воротами вполне можно было начертать дантовское «Оставь надежду всяк сюда входящий».

Глава шестая

Наконец мои приключения и злоключения на земле итальянской остались позади, и снова началась военная служба, унылая и бесцветная. Бывали, впрочем, и веселые минуты. Это когда командование военно-морских баз Специи и Таранто не шифром, а открытым текстом выражало бурное недовольство гнусной медлительностью корабля, который вез драгоценный груз — сыр, оливковое масло, мясо, фрукты. Разве капитан не понимает, как всего этого заждались матросы и офицеры?! Далее следовало ни в одном военном уставе не предусмотренное «порка мадонна» — черт побери, и обещание устроить капитану корабля-опозданца достойный прием. И длилось это хоть и нудное, но спокойное житье почти до конца 1952 года.

А тут началась свирепая борьба с безродными космополитами, кою возглавил лично гениальный Тиран Джугашвили-Сталин. В довершение всех моих бед командиром нашего радиоотряда был капитан первого ранга еврей Семен Хавин. Низкорослый, с коротенькими ножками и длинными ручищами, он отличался редким раболепием перед высшим начальством и… пламенной любовью к несравненному русскому языку. Особенно он любил русские пословицы, коими насыщал все свои поучения. Чаще всего объектом таких вовсе не отеческих наставлений был именно я. По очень простой причине — как самый нерадивый из трех официальных евреев, служивших в нашем радиоотряде. Двое других, Миша Беленький и Леонид Сокольник, прошли с Хавиным всю войну. И, что куда важнее, их супруги дружили с мадам Хавиной, претенциозной, занозистой дамой из Бобруйска. Больше всего она любила умные беседы о политике и щедрые подношения.

Третий же еврей, сиречь я, имел скверную привычку в обеденный перерыв играть с матросами в футбол. К этой игре я питал сильнейшую страсть.

Увы, однажды я попался Хавину на глаза, что стоило мне пяти суток домашнего ареста. Но вначале было суровое наставление. Тыча в меня желтым, морщинистым пальцем, Хавин объяснил вторую мою крупную погрешность:

— Плохо знаете, старший лейтенант, русские пословицы. Особенно эту: «Что посеешь, то и пожмешь».

Стоявшие полукругом офицеры отряда — матросам на таких экзекуциях присутствовать не полагалось — хранили почтительную серьезность.

Другие хавинские перлы мне довелось выслушать на

политзанятиях, посвященных козням американских и английских империалистов.

— Англия — страна колониальная, — объяснял он. — И она имеет доминанты. А ее главное владение — жижется на Индейском океане.

Офицеры в задних рядах улыбались в кулак, и, понятно, ни звука.

Еще к месту и не к месту любил он комментировать гениальную работу Владимира Ильича Ленина «К вопросу о компромиссах», с ударением на второе «о».

Все было бы еще терпимо, если б не настало зловещее время «врачей-убийц» и борьбы с опаснейшим сионизмом, объявленной Иосифом Сталиным всерьез и надолго.

А поскольку, по словам великого поэта в несколько вольной интерпретации моего друга лейтенанта Жени Торопова,

> «Не мог он ямба от хорея
> И сиониста от еврея,
> как мы ни бились, отличить»,

настал черед и командира нашего Хавина Семена Моисеевича. О сионизме истинном он знал не больше, чем я, скажем, о японской кухне. Зато он прекрасно знал и понимал, что дни его военной карьеры сочтены, если только не превзойдет он в подлости всех жителей города, вместе взятых.

Показательные сеансы по изобличению хитрого, скрытого сиониста Льва Вершинина стали основой его наступательных действий. Вскоре я вообще превратился в более чем вероятного тайного пособника врачей-убийц. Недаром же мать моя работала врачом-отоларингологом в детской поликлинике. А значит, она вполне могла проколоть скальпелем горло невинного русского младенца.

На каждом офицерском собрании меня усаживали в третий ряд, а соседние стулья оставались пустыми.

Брызгая слюной и пронзая меня насквозь указательным пальцем, Хавин вопил:

— Мы разоблачим этих гнусных перевертышей, в какие бы одежды они ни нарядились. Мы их изничтожим наголову.

Представьте себе, мне было вовсе не смешно.

В день очередной публичной экзекуции я спрятался в уборной и решил просидеть там до самого вечера.

Не прошло и пяти минут — стук в дверь. Не отвечаю. Тогда в нее кто-то начинает барабанить. Молчу.

— Левусь, вылезай, — слышу голос своего закадычного друга

Вити Лобанова.

— Погоди, Витек. Тебе что, тоже приспичило?

— Не мне, а Хавину.

— Ах вот как! Перебьется — у меня недержание кала.

— Уже знает, — ответил Витя, — но велел без тебя собрание не начинать. Приказал мне срочно извлечь тебя, Левунчик, из сортира, срок пять минут.

Застегнул я штаны, вылез — куда денешься.

На сей раз я услышал не только о перевертышах, но и о подлых притворюгах, каковым не будет пощады. Шел я с этого собрания пошатываясь и молча проклиная всех евреев-начальников на свете.

Да, ждали меня и «евреев-сионистов» камеры с зарешеченными окнами. Но вождь народов взял и помер, и суд над коварными убийцами не состоялся, А уж как готовились к нему многие с виду вполне миролюбивые граждане!

Надька, соседка наша по московской коммуналке, на полном серьезе уверяла мою мать-врача, что евреи привезли в Москву целый вагон мяса, зараженного раком. В самый последний момент их на Курском вокзале схватила бдительная милиция. Ну а незадолго до внезапной кончины вождя она сообщила моей маме:

— Марь Ароновна, а сейчас по радио передавали — в коммуналках приказано убивать соседей-евреев самим, не дожидаясь милиции.

Мать, в жизни не произнесшая ни одного нецензурного слова, схватила сковороду — дело было на общей кухне — и вскинула ее над головой Надьки.

— Давай, выполняй приказ, милицейская блядь — (последний Надькин любовник был участковым). — Только прежде я тебе этой сковородой череп раскрою.

От неожиданности Надька отпрянула, заперлась в своей комнате и до утра из нее не выходила.

А уже пять лет спустя, когда переехали мы в отдельную квартиру, та же Надька говорила матери с печалью искренней:

— Хоть вы, Марь Ароновна, оставайтесь. Не то кто ж моего Петеньку от всяких ангин лечить будет? Да еще бесплатно.

Вот такие переходы от обещания убить мою мать самолично до выражения пусть и весьма корыстной, но любви.

Воистину непредсказуемый народ и мы, евреи. Чаще всего мы просыпаемся, увы, когда горны уже отзвучали.

Страстного моего обличителя Семена Хавина сняли с должности командира отряда, когда опасность вроде миновала, ведь у власти уже были Маленков с Хрущевым. Все равно, дело на

Хавина заведено было еще раньше, и флотский отдел кадров взял да и дал ему ход.

И каким же мой вчера еще грозный начальник, государственный еврей, стал сразу маленьким, колченогим, жалким!

Ко мне, а не к кому-либо другому подошел он и принялся на чем свет стоит поносить Генеральный штаб и само правительство. Эти болваны самодовольные ценят, оказывается, одних лишь подлипал и краснобаев. А преданных стране, народу и партии испытанных воинов выбрасывают на свалку, как рваную бескозырку.

Слушал я его, слушал, а потом тоже подал голос:

— Видно, и вы забыли замечательную русскую пословицу «Что посеешь, то и пожнешь».

Недавний властитель большущего радиоотряда, капитан первого ранга Хавин аж перекосился от злости.

— Фарбрендт золс ту верн (чтоб ты сгорел), — прошипел он на идиш, казалось бы напрочь забытом языке местечкового детства. Повернулся и побрел домой.

Моя флотская служба длилась, однако, всего на три месяца дольше хавинской. В том же благословенном 1953 году Никита Хрущев, да простятся ему за одно это многие глупости и плебейское хамство на встрече с деятелями культуры, произвел первое сокращение вооруженных сил. А поскольку я еще раньше подал рапорт об увольнении в запас, меня с ошеломительной быстротой включили в «воинскую часть пятьсот тысяч». Так мы между собой называли полумиллионный эшелон отпущенных из армии и флота на гражданку.

В сентябре того же пятьдесят третьего года я вернулся в родную Москву и немедля принялся искать работу. Не сомневался, что мой опыт переводчика-синхрониста пригодится и в мирной жизни. Не тут-то было! Куда ни сунусь — в ТАСС, на радио, в Министерство внешней торговли, — всюду отказ. Беспартийный еврей, я оказался никому не нужным с моими двумя языками: итальянским и французским. Время шло, а скромная моя мечта обрести постоянную работу никак не сбывалась.

В бесконечных, изматывающих душу поисках прошел год, пока фортуна, доселе упорно стоявшая ко мне спиной, не повернулась вдруг бочком. В музыкальном училище при консерватории на вокальном отделении ушла на пенсию преподавательница итальянского языка. Идти туда работать на жалкие по тем временам сорок рублей в месяц охотников не

нашлось. Директор училища Рахиль Львовна Блюман, поговорив со мной, согласилась взять меня в свой «дружный коллектив».

Потом заглянула в мой паспорт, ахнула и… сказала, что возникли непредвиденные трудности чисто технического характера. На самом деле в училище и без меня полно было евреев — и она однажды уже слышала упрек, что превратила его в самую настоящую синагогу. Опять наткнулся я на еврея-начальника, обуянного страхом иудейским.

Кончилось бы все очередным отказом, если б не мой отец. Узнав о моем воистину отчаянном положении, он пришел к мадам Блюман и… на другой день меня зачислили в штат преподавателей училища.

Вот где мне пригодились уроки незабвенного Вальтера-Мизиано, учившего нас, курсантов, вместо нудной грамматики любить итальянское бельканто.

К тому времени я уже стал подрабатывать техническими переводами. Но так мне хотелось от турбин и поршней перейти к литературе! А из газеты «Унита» я уже знал, что в Италии набирает силу новое литературное течение, неореализм. И, о чудо, в журнале «Мондо операйо» мне попался на глаза документальный рассказ итальянского журналиста «В пещерах Матеры». После войны многие жители полуразрушенной Матеры и впрямь поселились в пещерах.

Словом, не было в том рассказе ни нагнетания ужасов, ни умствования нуднейшего, ни беспардонного вранья, свойственного советским корреспондентам за границей. Ну а нищета и бесправие батраков Лукании были тогда повседневной реальностью, и потому перевел я рассказ с искренней болью за судьбу любимых мною итальянцев Южной Италии.

Никогда больше не испытывал я такого счастья, как в тот день, когда бесхитростный этот репортаж в моем переводе появился в журнале «Крестьянка». Ведь с него началась моя переводческая карьера, длинная, трудная и подчас неблагодарная. Но тогда я летал как на крыльях и, вконец обнаглев, в мечтах уже видел себя переводчиком романа знаменитого итальянского писателя Карло Леви «Христос остановился в Эболи». Там в годы фашизма Примо Леви отбывал ссылку за свою «антинародную» деятельность. В условиях по сравнению с лагерями сталинскими да и хрущевскими поистине царских. Но Примо Леви, горожанину, известному в Риме врачу и художнику, сама эта сельская глушь казалась сущим адом. Тощие поля и скудные пастбища, убогие домишки, хозяйки которых, рано постаревшие от непосильного труда и скудной еды крестьянки, воспринимают полноту как символ довольства и

красоты. Прочитав книгу Карло Леви, даже человек, почти ничего не знавший об Италии, понимал, что фашизм и в смягченном итальянском варианте оставался режимом бесчеловечным. Приятным во всех отношениях он был, как и улучшенный брежневский вариант социализма, лишь для партийных демагогов, велеречивых болтунов всех мастей и чиновников-казнокрадов.

Отрицать острую социальную направленность, антифашистскую суть романа «Христос остановился в Эболи» вряд ли мог и самый пугливый из тогдашних редакторов. Поэтому я смело предложил его для перевода на русский язык.

Главный редактор издательства «Иностранная литература» Блинов роман для публикации после некоторых раздумий принял. Но он посчитал, что для молодого начинающего переводчика это будет чересчур ценным подарком. И предложил мне в виде компенсации перевести в содружестве с еще двумя коллегами роман писателя-неореалиста Васко Пратолини «Повесть о бедных влюбленных».

Похоже, наше трио поработало неплохо. Ведь полумиллионный тираж разошелся всего за неделю. Да и критика отозвалась о романе тепло, не лягнув при этом переводчиков. Ну а если переводчика не обругали, значит, он хорошо справился со своей нелегкой задачей. Конечно, переводчик — еще и возница, на свой страх и риск переправляющий культурные ценности из одной страны в другую, но за это критики в лучшем случае небрежно хлопают его по плечу.

Верно, еще и поэтому последние годы я не столько перевожу, сколько пишу критические статьи и детские сказки.

Впрочем, столь невеселые мысли пришли много позже. А тогда я был на седьмом небе от радости. Тем более что три года спустя одно из ведущих издательств — «Художественная литература» — предложило мне ни много ни мало составить сборник новелл классика итальянской литературы Джованни Верги и написать к нему предисловие.

Довоенные переводы его романов «Семья Маловодья» и «Мастро дон Джезуальдо» к тому времени прочно забылись. У нас широкий читатель знал этого замечательного сицилийского писателя лишь по опере Джакомо Пуччини «Сельская честь», да и то если интересовался, кто написал к ней либретто. Так что мне предстояло возродить Вергу-писателя.

Сейчас, перечитывая свое предисловие к сборнику новелл Верги, я испытываю чувство глухого недовольства собой. Бесспорно, Верга и разоблачал сицилийских нуворишей, и высмеивал жадность, а порой и жестокость островных

латифундистов, но разве в этом основная ценность его произведений? А где же извечные проблемы жизни и смерти, любви и ненависти, зоркая ирония старого аристократа, вовсе не склонного идеализировать и самих крестьян?!

К счастью, сам Джованни Верга своими произведениями начисто опровергает любые искусственные построения и догмы. Его огромный талант не нуждается ни в каких пояснениях. О чем мне и сказал Анджело Мариа Рипеллино, когда мы с ним впервые встретились в зимней, завьюженной Москве.

Здесь уж никак не обойтись без рассказа о Георгии Самсоновиче Брейтбурде, возглавлявшем тогда итальянское отделение иностранной комиссии при Союзе писателей СССР.

Странным, противоречивым до крайности был этот низенький, грузный человечек с узкими, острыми глазками.

Полный самомнения и самоедства, горделивый, а чаще угодливый, он сыграл немалую роль в развитии итальянско-советских литературных связей. Знаток русской и западной поэзии, обожавший Ахматову, Цветаеву, Пастернака, Рильке, он публично на собраниях поносил того же Пастернака и клеймил позором Ахматову. Но об этом я узнал лишь годы спустя. А пока, в 1956 году, он пришел ко мне домой и предложил поработать две недели переводчиком с известным итальянским славистом профессором Рипеллино, гостем Союза писателей. Изрядно изголодавшийся по итальянской речи, я с радостью согласился. Поди догадайся, что позже эта встреча с живым итальянцем обернется для меня крупными неприятностями.

И вот мы стоим с Жорой Брейтбурдом на перроне Белорусского вокзала и ждем итальянского профессора. Наконец из вагона выходит совсем молодой, стройный мужчина, смуглолицый, высокий, черноволосый, и на чистейшем, без всякого акцента, русском языке с веселой улыбкой представляется:

— Анджело Мариа Рипеллино, грузин из Палермо. Славист по профессии и по призванию.

От растерянности я лепечу что-то нечленораздельное. Молнией обжигает мысль: «На кой дьявол ему переводчик, если он так хорошо говорит по-русски?»

Мое лицо — зеркало если не души, то уж моих чувств точно. Догадливый Жора Брейтбурд мигом улавливает причину моего смятения.

— Синьор Рипеллино впервые в Москве, да и вообще в нашей стране, и ему нужен скорее даже не переводчик, а гид, — с важным видом объясняет он.

— И то и другое, — уточняет Рипеллино. — Вы диалектику

учили не по Гегелю, а я вот русский язык — по старым учебникам. Ну, и еще по вашим довоенным фильмам.

«А также по Маяковскому», — подумал я, поняв, что придется крепко попотеть с этим эрудитом из солнечной Сицилии. Ведь я уже знал, что передо мной автор многих эссе о русской и советской литературе, который познакомил Италию с Пастернаком.

Предусмотрительный Жора Брейтбурд заранее согласовал в иностранной комиссии всю программу пребывания Рипеллино в Москве. Первой в ней значилась поездка к Пастернаку, а затем — к Лиле Брик.

К Пастернаку мы в тот раз не попали, а вот встреча с Лилей Брик и ее мужем Василием Катаняном вскоре состоялась.

Дверь нам открыл Катанян, нестарый еще, но сутулый, с жеваным лицом и поредевшими волосами. С Рипеллино он сразу заговорил по-французски, барственно растягивая слова. И тут в коридор вышла стройная, длинноногая женщина средних лет с гладким, без единой морщины лицом. Была она в коротенькой до колен юбке и шерстяной блузке. Она приветствовала Рипеллино так непринужденно-фамильярно, словно они уже знали друг друга с раннего детства. Потом провела нас в кабинет, где в чудовищном беспорядке, на диване, столе и даже на полу, валялись книги, журналы и газеты. Жестом королевы предложила нам сесть и спросила, что мы будем пить — вино, коньяк, кофе или чай, а может, коньяк с кофе?

Внезапно зазвонил телефон.

— А, это Эльза, — пояснила Лиля Брик. — Простите, я сейчас.

Поудобнее уселась в кресло и, спросив у сестры о здоровье ее и Луи Арагона, завела долгий разговор о последних театральных и литературных новостях Москвы и Парижа. Потом пожаловалась, что норковая шуба до сих пор не прибыла, хотя прошел уже целый месяц. И попросила Эльзу Триоле вмешаться — ей и, главное, ее мужу это сподручнее. Ведь с Арагоном «они» будут разговаривать на цыпочках. Кто эти «они», Лиля Брик не уточнила.

Я сидел и думал — шел-то пятьдесят седьмой год, — что, наверно, немного есть в Москве квартир, где с Парижем разговаривают так, словно твой собеседник живет на соседней улице. Поговорив с сестрой минут двадцать, Лиля Брик небрежно опустила трубку на рычаг, извинилась перед нами и, снова став любезной хозяйкой, сама налила нам в тоненькие рюмочки коньяку и в чашечки дымящийся кофе. Катанян все это время послушно семенил из гостиной в кухню и обратно. Не забыв,

правда, похвастать, что вышла его новая книга о Владимире Владимировиче, седьмая по счету, но, по отзывам критиков, первейшая по значимости.

Мадам Брик слегка поморщилась, ручкой повела, но возражать не стала — первейшая так первейшая, ей не жалко. Выпив коньяку, она с легкой усмешкой поглядела на своего неутомимого маяковсковеда, перевела взгляд на Рипеллино и чуть хрипловатым голосом сказала:

— Вы оба знаете творчество Володи едва ли не лучше его самого. А потому будем говорить о нем только как о человеке.

Завязалась непринужденная беседа. Совсем осмелев, Рипеллино откровенно заметил, что, похоже, у Маяковского странным образом сочетались удивительная наивность с редкой прозорливостью, а доброта с суровостью, подчас излишней.

— Добавьте сюда еще и верность с неверностью, — живо откликнулась Лиля Брик. — Да, да, если Володя клал глаз на какую-нибудь женщину, она от него уже не ускользала.

Рипеллино в растерянности посмотрел на нее, пораженный таким откровенным признанием.

— Меня это ничуть не трогало, — ответила на его немой вопрос Лиля Брик. — Ведь я знала, что рано или поздно он все равно вернется. Здесь, и только здесь, были его семья и родной дом.

Катанян в очередной раз вышел на кухню подогреть чай.

— Уж поверьте мне на слово, Володя влюблялся во многих, а любил меня одну. Вот смотрите, Анджело, этот старинный серебряный перстень с инициалами Л. В. он подарил мне в день нашей свадьбы. Это мой талисман, хоть и не спасший меня от бед, но уберегший пока от гибели.

Она любезно показала кольцо и мне, отлично понимая всю неловкость моего положения переводчика с русского на русский.

— Между прочим, Анджело, я знаю о вас многое, — с загадочной улыбкой продолжала Лиля Брик, глядя на него смеющимися глазами.

— Что-нибудь ужасно меня компрометирующее? — в тон ей ответил Рипеллино.

— Нет, нет, речь идет о ваших вкусах! К примеру, я знаю, что ваш любимый художник — Пиросмани. О, какие они с Володей устраивали в Тифлисе пиры, и как давно это было. Будто целая вечность прошла!

— Грузия, Пиросмани — моя первая, неизменная любовь! Я даже написал о нем две большие статьи, — подтвердил Рипеллино, просветлев лицом. — Великий художник и великий неудачник. Сколько он картин создал, а что сумели сберечь?

Самую малость.

— Ну, три картины я сама сохранила. Вася, — обратилась она к мужу, — не помните, где лежит та его вывеска для шашлычной?

— Сейчас поищу, Лили, — нежным голосом ответил Катанян и исчез в соседней комнате.

Рипеллино посмотрел на меня с таким видом, словно вдруг очутился в стране чудес. Минут пять спустя Катанян принес огромную доску с наклеенным на нее холстом — желтые и ярко-красные фрукты на сплошном черном фоне.

— Это вам от меня и Володи — подарок, — сказала Лиля Брик, протягивая Анджело картину. Тот бережно, словно новорожденного, положил ее себе на колени, все еще не в силах поверить, что такое возможно. Да и я был поражен — взять и так вот запросто отдать навсегда бесценного Пиросмани.

Встреча наша закончилась поздно, часов в одиннадцать вечера. Уже на выходе я не удержался и сказал Анджело:

— Прости за дурацкий вопрос, но когда у них состоялась свадьба?

— Не знаю, впервые об этом слышу. Почти наверняка ее и не было вовсе. Но, Лев, только теперь я понял, что от такой женщины и вправду трудно было уйти, — ответил Рипеллино.

— Из-за ее красоты и ума?

— Очень красивой ее не назовешь. А насчет ума судить с первой встречи не берусь. Только есть в ней особое обаяние, шарм. И заметь, даже цинизм ее не как у других — своей предельной откровенностью он просто обезоруживает.

— По-моему, даже себе во вред, — заметил я.

— Понятно, во вред, а не на пользу. Мало кто из женщин решился бы на такие признания. А она отважилась и при этом не унизилась в моих глазах. Смотри, она, конечно, от начала до конца выдумала эту историю со свадьбой, но я ей верю. Бывает ведь и такая вот правда вымысла.

Само собой, мне на редкость интересно было побывать с Рипеллино в гостях не у одной Лили Брик, но и у Шкловского, Каверина, Слуцкого. Впрочем, осторожный Вениамин Каверин назначил нам встречу в холле Союза писателей.

Наученный горьким опытом встреч со Шкловским, да и той же Лилей Брик, я сразу предупредил Каверина:

— Наш гость, Анджело Мария Рипеллино, говорит по-русски воистину превосходно. Так что я оставляю вас одних, а сам пойду посижу в кафе. Когда кончите беседу, меня позовете. — Встал и хотел уйти.

— Подождите, — остановил он меня. — Не лучше ли нам пока побеседовать втроем? Ну, а там посмотрим.

Я мгновенно понял, в чем меня Каверин подозревает. Боится, что работаю я на две конторы сразу.

— Хорошо, я с вами посижу, но, поверьте, это лишнее, — сказал я.

Разговор у них шел о «Серапионовых братьях», литературной группе начала двадцатых годов, в которой Каверин вместе с Зощенко и Лунцем играл далеко не последнюю роль. Вениамин Александрович сказал, что, хоть ее потом называли в печати и аполитичной и мещанской, она оказала немалое влияние на развитие русской советской литературы. И он испытующе поглядел на меня. Улыбнувшись, я ответил, что считаю Зощенко поистине гениальным сатириком.

Через полчаса примерно Каверин сказал мне ласково:

— Лев Александрович, я все понял. Раз вы такой… необычный, то и в самом деле можете кофе попить да бутерброд съесть, а я вас потом сам позову.

Что он спустя еще час и сделал, придя в кафе.

Любопытной была и встреча с главным режиссером Театра сатиры Валентином Плучеком. Особенно поразил меня его рассказ о внезапно открывшемся ему при первой встрече с режиссером Питером Бруком их удивительном творческом родстве. А затем из разговора выяснилось, что они двоюродные братья. Вот и не верь после этого интуиции!

Но меня неотвязно жгло сомнение — какова моя при этих беседах роль? Явно самая что ни на есть идиотская. Сдуру взял и поделился своими мучительными раздумьями с Жорой Брейтбурдом… И получил от него нагоняй в лучших бюрократических традициях тех времен.

— Взялись работать, так работайте, а не мудрствуйте лукаво, — сердито выговаривал мне Жора. — Мало ли какие у Рипеллино могут возникнуть проблемы в чужом, незнакомом городе, да еще в такой громадине, как Москва.

Проблема у Анджело вскоре и впрямь возникла, притом деликатная.

Остановился он в гостинице «Украина» и там познакомился с грациозной, белокурой девушкой по имени Валентина, работавшей в бюро информации. Из Союза писателей за нами регулярно присылали машину с шофером, и тот возил нас по городу и на официальные встречи. Во время одной из таких туристских поездок Анджело вдруг наклонился ко мне — оба мы сидели на заднем сиденье — и сказал жарким шепотком:

— Лев, попроси его остановиться у метро «Маяковская». Там мне Валечка назначила свидание.

Я попросил шофера, и он притормозил неподалеку от станции метро, где мы с Анджело и расстались. Договорились встретиться утром в гостинице «Украина».

А на другой день Анджело радостно сообщил мне, что Валя пригласила его к себе домой на Петровку, где она жила в однокомнатной квартире.

— Какая она смелая, Валечка моя! — восхищался он. — И сколько в ней чистоты и благородства. Ведь она ничего от меня не требует и ни на что не надеется. Я же ей сразу сказал, что женат и у меня двое детей.

«Чересчур смелая», — подумалось мне, но подозрений своих я Анджело, понятно, не высказал — пусть себе наслаждается жизнью.

Три года спустя я случайно узнал, что органы Валечке все эти свидания и с Рипеллино, и с японским бизнесменом очень даже хорошо оплачивали.

Но и при новой встрече с Рипеллино в Москве ни словом о том не обмолвился — зачем портить ему кровь.

Словом, вернулся Анджело в Италию помолодевший лет на десять, мечтательно-счастливый и полный грандиозных планов и надежд еще раз побывать в Москве.

Приобрел благодаря Анджело надежного друга и я, не женщину, а мужчину, чудесного поэта по имени Борис Абрамович Слуцкий.

Глава седьмая

Именно Рипеллино я обязан знакомству и дружбе с Борисом Абрамовичем Слуцким, в обычной жизни человеком очень замкнутым и неразговорчивым. Но Рипеллино был первым, кто перевел и опубликовал в родной Италии целый сборник стихотворений Слуцкого. И с ним Борис Абрамович с первой встречи был предельно откровенным и раскованным.

Состоялась же эта встреча в январе пятьдесят седьмого года в ресторане гостиницы «Метрополь».

Рипеллино сразу, что называется, взял быка за рога и заговорил о традиции и новаторстве в послевоенной советской поэзии. Сам он особенно любил и цитировал наизусть в подлиннике множество стихов Вознесенского и Евтушенко.

— Для меня их стихи, и прежде всего Вознесенского, — поэзия в самом высоком понимании этого слова! — с пафосом воскликнул он.

— А вот я отношу себя к традиционалистам, — с явным вызовом сказал Слуцкий. — Думаете, я не смог бы рифмочку придумать похлеще Андрея? Без труда. Но зачем? По мне, так поэзии особое изящество и лоск противопоказаны, ее одежды просты и безыскусны.

— Да, но без новаторства поэзия бы скисла, остекленела! — вскинулся Рипеллино. — Я убежден — у вас, в Союзе, именно Вознесенский придал ей иное, свежее дыхание, спас ее от вторичности.

— Не знаю, не знаю. После Пушкина и вторым, похоже, быть не зазорно, — парировал Слуцкий. — А вот быть вторым Вознесенским, с его немалой долей выпендрежа, не хочу никак. Вы, наверно, заметили, — продолжал он, — что стих у меня прозаичен, а порой и тяжеловесен. Как сама нелегкая правда бытия. Для меня главное — не игра слов, пусть и высокого класса, а само слово в его глубинной сути.

— Все-таки без новаторства поэзия… тихоходна, — не согласился Анджело.

— Я не бегун, чтобы любой ценой стремиться прийти к финишу первым, — спокойно ответил Слуцкий.

Расстались они, так и не придя к согласию о важнейшем назначении истинной поэзии, но вполне дружески. Впоследствии они еще не раз виделись и в Москве и в Риме.

Позже я понял — Борис Абрамович вовсе не кривил душой, когда говорил, что не рвется в абсолютные лидеры. Он, похоже, даже не задавался вопросом, кто самый-самый в их военном

«трио» — Самойлов, он или Винокуров.

Кого Слуцкий безоговорочно считал гениальным, а может, и вовсе величайшим русским поэтом двадцатого века, так это Бориса Леонидовича Пастернака.

Тем более странными, если не дикими, могут показаться его гневные слова в адрес Пастернака на печально известном собрании Союза советских писателей.

Много лет я не отваживался спросить у Бориса Абрамовича, что подвигло его на столь, мягко выражаясь, некрасивый поступок. Решился он на это житейского благополучия ради? Едва ли, подумал я. При всей его внешней суровости был он человеком удивительно добрым. Притом доброта его была тихой, не напоказ.

Вспоминается такой эпизод из далекого 1975 года. Борис Абрамович, готовясь к поездке в Италию на поэтический симпозиум, заглянул ко мне домой — кое-какую дополнительную информацию об итальянской реальности получить. Сразу заметил, что жена лежит на диване, морщась от боли.

— Что с ней такое? — тихо спросил он.

— Опять резко поднялось давление. Врачи новое лекарство ей прописали, да вот никак его достать не могу. Ни в одной аптеке нет.

Поговорили мы с Борисом Абрамовичем о тенденциях в современной итальянской поэзии, съели «рыбу-фиш», запили ее белым вином, и он собрался уходить. На прощание спросил, будто невзначай, как же это лекарство называется, пожелал жене моей Марии скорейшего выздоровления, и на том мы и расстались.

Приехал Слуцкий дней через десять и вскоре пришел ко мне. Положил на стол плитку шоколада и… недоступное мне в Союзе и, как я узнал потом, очень дорогое лекарство для жены. Ладно, это всего лишь сценка из повседневной жизни. А любовь в кавычках поэтов друг к другу общеизвестна. Неужто и Слуцкого заразная эта болезнь не обошла стороной?

Ответа на свой немой, мучительный вопрос я так бы и не нашел, если бы однажды Борис Абрамович сам о том не заговорил. Собственно, речь шла о поэзии Леонида Мартынова. Я честно сказал, что последние его стихи мне нравятся куда меньше — какие-то они натужные и нередко просто искусственные.

— Конечно, оба мы стали писать хуже… С той самой поры, как собаками цепными набросились на Бориса Леонидовича. Вы все, верно, думаете, что я лично страха ради иудейского на него обрушился. И еще потому, что гению даже талант невольно завидует. Так ведь?

Я молчал, не зная, что ответить.

— Вовсе нет, Лев. Мне и в самом деле показалось — постыдно и непатриотично отдавать свой роман за рубеж. Пусть даже в коммунистическое издательство.

— Что же ему еще оставалось делать, если в Союзе «Доктора Живаго» печатать не хотели ни в какую? Уже набранный экземпляр взяли и рассыпали! — воскликнул я.

— Ну, я считал — борись, доказывай свою правоту. Ведь в отличие от пресловутых рабочих масс я-то роман читал в рукописи. И ничего такого антисоветского в нем не нашел… Ох, сказалась моя партийная, бойцовская закалочка, — с горечью заключил Борис Абрамович.

О главном он, однако, умолчал. Прозрение пришло к нему очень скоро. Из бесконечного потока хамских по тону и бездоказательных писем рабочих и крестьян, творческой интеллигенции и военных Слуцкий понял, в какую гнусную компанию бдительных партократов и круглосуточных антисемитов он попал. Ни минуты не медля, помчался он в Переделкино к Пастернаку. А там не фигурально, а натурально пал пред ним на колени, умоляя простить, если только это возможно.

Пастернак, умевший и со своего поэтического Олимпа отличать искренность от фальши, Слуцкого простил всем сердцем. Но вот сам Борис Абрамович отпущения того тяжкого греха не дал себе до последнего дня жизни. Целых тридцать лет ныла и болела незаживающая рана. И никаких оправданий задним числом Борис Абрамович себе не искал. Именно об этой неотступной боли стихотворение Слуцкого «Днем и ночью»:

Днем загоняем толки в догмы,
а ночью
поважней
итог мы
подводим,
пострашней итог.
Он прост,
неотвратим,
жесток.

Не каждый решится заранее подводить жизненные итоги, да еще с такой предельной к себе суровостью. Слуцкий себя не пощадил.

Боюсь только, что многим жизнь поэта покажется сплошным, мучительным испытанием. Вовсе нет — семейная его жизнь

сложилась поистине счастливо, и будущее нередко виделось ему тогда просто лучезарным.

Летним жарким днем я вышел из своего нового дома на Красноармейской улице и у самого подъезда встретил Слуцкого. Был он не один, а со своей спутницей, молодой красивой шатенкой.

— Познакомьтесь, моя жена — Татьяна. Для меня милая, любимейшая Танечка.

Застигнутый врасплох — Борис Абрамович был убежденным холостяком и долго не женился, — я брякнул:

— А вас она, Борис Абрамович, любит?

— Очень. Иначе разве вышла бы молодая русская красавица за старого еврея! — с ухмылкой ответил он.

— Так уж и старого, так уж и еврея, — в тон ему отозвалась Таня.

Несмотря на изрядную разницу в летах, они оказались на редкость удачной парой. Татьяна стала для Слуцкого не только нежной, заботливой женой, но и прекрасным, суровым редактором и критиком. Отныне без ее одобрения он не отдавал в печать ни одного стихотворения.

Увы, длилась эта почти идиллия недолго. Вскоре Таня тяжело заболела — врачи нашли у нее рак крови. Лечиться ее отправили во Францию, но и тамошние доктора помочь ей реально не смогли. Через меня она связалась с Римом, где в то время как раз разрабатывали новейший, довольно эффективный метод лечения этой страшной болезни. Собралась туда поехать — не успела, умерла от острейшей анемии.

Для Бориса Абрамовича смерть любимой жены стала новым жесточайшим ударом, от которого он так и не сумел оправиться.

Последний год жизни он провел полнейшим затворником, не встречаясь даже с близкими друзьями. За ним трогательно, как за больным ребенком, ухаживал брат. Борис Абрамович и впрямь болел тягчайшими воспоминаниями о давнем и недавнем прошлом. Лишь брату он поверял горькие свои раздумья о том, что с болью великой называл: «О грядущем злая память».

Как то ни грустно, судьба щедро «одарила» его мучительными испытаниями — войной, разрывом нелепым с Пастернаком, гибелью жены — и явно недодала ему и простых житейских радостей, и славы. Но меня не покидает вера, что беспристрастное время все расставит по своим местам. Хоть и запоздалое, посмертное признание он, поэт редкой искренности и мужества, заслужил целиком и полностью.

Глава восьмая

Как то ни грустно, но радость встречи, знакомства и дружбы со временем, особенно если долго живешь, неизбежно превращается в полынь горькую расставания навечно. В семьдесят пятом году, прожив всего пятьдесят пять лет, умер после тяжкой, мучительной болезни Анджело Мариа Рипеллино, а в восемьдесят шестом мы проводили в последний путь поэта судьбы трагической и славной Бориса Абрамовича Слуцкого.

Но, может, тем и хороша жизнь наша, что знать будущее нам не дано.

Тогда, попрощавшись с Рипеллино, я ощутил острую потребность поделиться с ним хоть в письме чувством внезапной, внутренней близости с этим до того незнакомым мне человеком.

И уже через две недели получил от него теплое ответное письмо.

Вот оно.

«Мой дорогой Лев,

прежде всего хочу поблагодарить тебя, каро, за твою искреннюю заботу обо мне и ощущаю тебя настоящим другом. Можешь во всем надеяться на мою помощь. Вспоминаю с грустью наши московско-ленинградские вечера и всем сердцем надеюсь скоро вернуться в Союз. Написал в издательство Эйнауди, чтобы они присылали тебе все книжные новинки. Завтра напишу об этом и „Фальтринелли“. Я собираю воедино все мои стихи и пришлю тебе рукопись. Недавно написал стихотворение „Моим русским друзьям“ и второе, в котором выразил всю свою любовь к жизни, о чем мы с тобой так много говорили. Ответь мне сразу и пиши по-русски, как и я отныне буду тебе писать. Вспоминай обо мне с теплотой.

Твой Анджело».

На первый взгляд все для меня складывалось прекрасно — я стал получать из итальянских издательств книги, вплотную занялся переводами и литературной критикой.

Увы, и неприятности не заставили себя долго ждать. Брейтбурд прознал от шофера, что я «манкировал своими обязанностями». Иными словами — часто оставлял Рипеллино наедине с его очередным собеседником-писателем. Хорошо еще, что бдительный Георгий Самсонович не проведал о Валентине, а то мне и вовсе не сносить бы головы. Впрочем, товарищ Георгий Брейтбурд и без того в наказание пообещал, что в следующий

приезд Рипеллино я буду ходить с ним лишь на официальные приемы, а уж писателей он берет на себя. А еще он строго-настрого «посоветовал» мне вести переписку исключительно через иностранную комиссию, то есть через него.

Я внимательно Жору выслушал и ни одному его совету не последовал. Стал переписываться напрямую сначала с Рипеллино, а потом и с другими итальянскими писателями и получать от них книги для возможного перевода и публикации в Советском Союзе.

Это потом, уже в шестидесятые годы, Рипеллино объявили исконно скрытым антисоветчиком, за то, что он осудил сурово вторжение в Чехословакию.

На самом же деле Анджело искренне любил Россию и даже после событий в Венгрии всячески пытался убедить друзей, а главное, себя самого, что оттепель вопреки всему продолжается. Не отрезвили его вначале и злые нападки на Бориса Леонидовича Пастернака, сразу после опубликования в Италии в ноябре 1957 года романа «Доктор Живаго».

Ничего удивительного здесь нет. Если уж в годы сталинщины не только левая интеллигенция Запада, но и многие либералы и демократы не верили в существование Архипелага Гулага и в лживость всех этих процессов над якобы врагами советского народа, то что требовать от людей, дождавшихся оттепели. Ведь еще задолго до Солженицына итальянец Иньяцио Силоне и француз Андре Жид писали о лагерях смерти в стране победившего социализма. А тогдашний глава социалистической партии Италии Ненни назвал эти позорные судилища «средневековыми процессами над ведьмами». В ответ западные поборники свободы лишь сокрушенно качали головой: «Кто не знает, что писатели — чудаки и фантазеры, готовые поверить любой глупой выдумке. Ну, а Ненни явно поддался на провокацию ловких антисоветчиков».

Вот и Рипеллино первое время был искренне убежден, что ряд писателей и общественных деятелей Запада, выступая в защиту великого опального поэта, стремятся прежде всего опорочить Советский Союз.

Если же быть до конца честными, то надо признать, что иные из «адвокатов» Пастернака и в самом деле пеклись в основном о своих корыстных интересах.

О тяжких своих сомнениях Рипеллино с присущей ему честностью поделился со мной в предновогоднем письме 22 декабря 1957 года:

«Дорогой Лев,
шлю тебе, твоей жене и дочке целый мешок наилучших

новогодних пожеланий. Пусть жизнь твоя будет спокойной и радостной, всех тебе благ. Сам я днем и ночью пишу книгу о Маяковском и надеюсь, что вещь будет значительной. Включил туда и мои впечатления о встрече с Лилей Брик и Василием Катаняном.

В эти дни у нас только и говорят и даже отчаянно шумят о романе Пастернака. Газеты, журнальчики, газетенки, литературные листки всех мастей грудью встали на защиту несчастного, гонимого поэта. Мне лично весь этот шум крайне неприятен. Отныне имя Пастернака, которого я хотел представить во всей его литературной значимости, стало знаменем низкопробных журналистов, а сам он — героем салонов. Все называют „Доктора Живаго“ самым крупным русским романом после романов Льва Толстого. Притом многие — даже не прочитав его. Так вот — для меня Пастернак был и остается великим поэтом и не столь уж замечательным прозаиком. К тому же мне не по душе все эти речи, неизменно переходящие под конец в ядовитые нападки на Советский Союз. Я, можно сказать, был в Италии пионером пастернакизма, но нельзя же всю жизнь заниматься одним-единственным поэтом. В русской советской поэзии и прозе есть немало других произведений, которые меня глубоко волнуют, — к примеру, стихи Заболоцкого, Слуцкого, Винокурова, эссе Виктора Шкловского. Еще и по этой причине очень надеюсь вскоре встретиться с тобой в нашей родной Москве. Чао, Лев.

Твой Анджело».

Невеселое, прямо скажем, письмо, да и суждения Анджело нередко далеки от истины. Не спорю, он мог ошибаться в людях и в оценке событий, но в глубочайшей порядочности и благородстве ему никак не откажешь. А главное, никакие соображения выгоды или хитроумного расчета не могли подвигнуть его на бесчестный поступок.

Уже через месяц после начала «дела Пастернака» беспардонно-наглый тон газетных статей и неумело срежиссированные гневные письма «простых советских людей» вызвали у него неподдельное отвращение. Теперь он твердо решил как можно скорее приехать в Москву и на месте самому во всем разобраться.

Он отправил письмо Георгию Брейтбурду с просьбой организовать ему встречу с Пастернаком. У него для Бориса Леонидовича и подарок припасен — новые переводы на итальянский язык ранних его стихов.

Отказать Рипеллино, тогда еще бывшему в фаворе у

руководства Союза писателей, послушный чиновник, государственный еврей Георгий Брейтбурд не посмел, да и не хотел. В тот момент эстет и поэтический гурман, буквально вкушавший каждую строку Пастернака, победил трусливого карьериста. С присущей ему деловитостью Жора тут же связался по телефону с Пастернаком и договорился с ним о встрече. Само собой разумеется, в ней примет участие и он, Георгий Брейтбурд. Он все быстренько согласовал с вышестоящими инстанциями и пригласил Рипеллино поехать к Борису Леонидовичу на дачу в Переделкино. Притом не одного Анджело, но и Евтушенко, давно мечтавшего познакомиться с несравненным Пастернаком. Поехал и я — в качестве переводчика. Хоть Рипеллино прекрасно говорил по-русски и переводчик ему был не нужен, так требовал ритуал, и все тут.

30 апреля 1959 года. Черный «москвич» несет нас по серому асфальту шоссе в Переделкино. Впереди сидят люди официальные — Жора и шофер, сзади — Рипеллино, Евтушенко и я. По лицу Евтушенко вижу, что он очень волнуется и здорово робеет, как ученик перед трудным экзаменом. Разговор неизбежно заходит о злобных нападках на Пастернака. Хотя травля после выколоченного из поэта отказа от Нобелевской премии несколько поутихла, печатать его не печатают. А жить-то надо, и он вынужден заниматься переводами, крадущими у него, как он сам с болью говорил, собственные поэмы.

И вдруг Евтушенко громко так, словно он не в машине, а на трибуне, объявил:

— Я тоже написал письмо от имени… трудового поэта.

И прочитал с чувством:

Мне критики твердят из года в год:
Народ не понимает Пастернака.
А я вот понимаю Пастернака,
Так что же, я умнее, чем народ?

По мне, Евтушенко поступил весьма смело. Особенно если учесть, что это было за время. Ведь он не мог не знать, что Брейтбурд уже по долгу службы доложит обо всем куда положено. Да и меня он видел впервые. Но вот — не убоялся.

Пастернак стоял на крыльце и, завидев нас, приветливо махнул рукой. Спустился по ступенькам и за руку поздоровался с каждым. Он сразу узнал не только Евтушенко, но и Рипеллино, с которым уже вел переписку.

— Так вот почему вы подписываетесь «Грузин из Палермо», — обратился он к Анджело. — Вы и в самом деле очень похожи на

грузина.

Потом испытующе поглядел на меня — мол, а вы здесь с какой такой целью (Георгия он хорошо знал по предыдущим визитам)? Я извинился и под благовидным предлогом оставил их на некоторое время.

Позже Рипеллино рассказал мне, как проходила встреча. За обедом Пастернак и Евтушенко читали свои и чужие стихи. Евтушенко — «Пролог» и «Свадьбы», Борис Леонидович — «Вакханалии» и стихи Марины Цветаевой.

Когда обед уже заканчивался, Пастернак вдруг поднялся и сказал:

— После столь обильной еды надо немного передохнуть и проветриться. — И обращаясь к Рипеллино, добавил: — Не хотите ли, каро Анджело, составить мне компанию?

Рипеллино намек понял, сразу встал и вышел в коридор вместе с Пастернаком. А тот поднялся с гостем на второй этаж в свой кабинет и, усадив Анджело за столик, сказал с досадой:

— Ох уж этот вездесущий Георгий Самсонович! Неужто не понимает, что при нем и поговорить-то откровенно нельзя. Хотя, скорее, просто не желает понять — не положено ему. — И с лукавой улыбкой добавил: — Впрочем, я тоже принял свои оборонительные меры. Это вам. — Он протянул Анджело тонкую картонную папку со стихами. — Последние самые, постживаговские, некоторые бесспорно крамольные. Отпечатаны только в пяти экземплярах. Все, что понравится, переводите и публикуйте. Даю вам на это исключительное право. Если понадобится, подтвержу письмом.

— А вы не боитесь? — вырвалось у Рипеллино.

Пастернак махнул рукой.

— Бояться надоело, амнезия наступила. Знаете, Анджело, загнанный в угол утрачивает страх. Так что предоставляю вам полную свободу выбора и целиком полагаюсь на ваш вкус. — Помолчав с минуту, добавил: — Вот за Олю, признаться, побаиваюсь. Но думаю, и ее не тронут. Им же самим невыгодно.

В коридоре Анджело сунул папку в свой портфель, а потом вместе с Пастернаком вернулся в гостиную.

На обратном пути в Москву — теперь нас вместе с шофером было всего трое — Рипеллино не переставал восхищаться Пастернаком:

— Какой человек, сколько в нем мужества и благородства! А стихотворения одно лучше другого. По-моему, он достиг той немыслимой простоты, к которой стремился всю жизнь… И знаешь, без Ольги Ивинской ему, похоже, пришлось бы куда труднее и мрачнее.

Рипеллино не ошибся — последние лет десять Ольга Ивинская была для Пастернака верным и надежным помощником во всех его делах, особенно совсем непростых издательских, как в Союзе, так и за рубежом. Борис Леонидович лично следил за тем, чтобы немалая часть гонорара за издание «Доктора Живаго» передавалась надежными гонцами именно Ивинской. Уже после смерти Пастернака, при новой нашей встрече в Москве, Рипеллино рассказал мне, что она получала гонорар прямо из-за рубежа, иной раз в рублях, а иной — в долларах.

Но чтобы за это в тюрьму сажали — уму непостижимо! Такое могло произойти только в уникальной Стране Советов.

Сам же Пастернак в последний год жизни гонениям со стороны власть имущих не подвергался. Во многом благодаря благородству Рипеллино.

В Москве, когда мы вышли из машины и направились к гостинице «Националь», я на прощание спросил Анджело:

— Так будешь печатать эти его стихи?

— Посмотрю. Очень бы не хотелось ставить Бориса Леонидовича под новый удар.

— Кого, властей?

— Почему же одних властей? В не меньшей мере его братьев-поэтов. Ведь как то ни грустно, но порой и талант враждебен гению. Иначе как понять, что такие сильные поэты, как Леонид Мартынов, Вера Инбер, Михаил Луконин, тоже ратовали за его исключение?

— Ради спокойной жизни и благополучия своего. Элементарно хотели перестраховаться, — предположил я.

— Конечно, не без этого, — согласился Рипеллино. — Однако поверь мне — зависть не менее мощное чувство, чем любовь и ненависть.

На том мы и расстались.

Вернувшись в Италию, Рипеллино написал несколько очерков о Москве и Ленинграде, в которых рядом с восторженными отзывами о поэзии Пастернака и Заболоцкого назвал социалистический реализм «серостью на марше». Что весьма не понравилось тогдашним литературным чинушам. Неизданные же стихи Пастернака он так и не опубликовал. А ведь пресс-атташе одного американского издательства предлагал ему за них 30 тысяч долларов — сумму по тем временам огромную.

Ну, а я с того майского дня и вовсе впал у Георгия Самсоновича в немилость. В гости к Эренбургу он повез Рипеллино сам, единолично. Да только не взял в расчет многомудрый Георгий, что автор «Хулио Хуренито» и «Бури», тертый калач и немалый циник Илья Григорьевич Эренбург — не

чета старомодно-деликатному Борису Леонидовичу Пастернаку.

Принял Эренбург гостей радушно, очень растрогался, узнав, что Рипеллино читал не одни его романы, но и многие статьи. И внезапно обратился к Жоре совсем другим, ледяным ТОНОМ:

— Георгий Самсонович, знаете, я вполне свободно владею французским. А с Модильяни и по-итальянски сумел объясниться. Впрочем, синьор Рипеллино отменно говорит по-русски, а посему нет ни малейшей нужды в вашей помощи. Так что приходите часа через два-три. И приятного вам аппетита.

Он вывел онемевшего от такой наглости Жору в коридор, вежливо попрощался и бесшумно закрыл за ним дверь. Обо всем этом Анджело рассказал мне тем же вечером с веселым смешком, довольный и, понятно, немного смущенный.

А на мой вопрос, как прошла встреча с самим Эренбургом, сказал, подумав:

— Умен этот старый лис адски, по мне, так даже слишком. И похоже, радости от этого и сам не испытывает — ведь себя-то обманывать он все-таки не научился.

В том, что Эренбург пытался обманывать других, мне довелось убедиться самому еще раньше, в сорок девятом году. Тогда уже вовсю развернулась в советской печати кампания против «гнусных космополитов в среде писателей». Вдруг обнаружилось, что почти все они, начиная с Багрицкого и Светлова, взяли себе лживо-русские псевдонимы, чтобы скрыть от народа свое изначальное еврейство.

Эренбург приятным на слух «патриотов рассейских» псевдонимом не обзавелся, своего еврейского происхождения не отрицал и «отца юриста» себе не подыскивал.

Только сама эта принадлежность к народу Книги была для властей предержащих неоспоримым доказательством вины.

Теперь официальные, русские по крови критики припомнили Эренбургу и антисоциальный, законную власть осмеивающий роман «Хулио Хуренито», и мелкобуржуазную повесть «Любовь Жанны Ней».

Как же отреагировал на эти резкие выпады в адрес «лохматого» — так он ласково называл Эренбурга — Вождь Народов Иосиф Сталин? Послал Эренбурга в Италию. Вождю Илья Григорьевич был нужен именно «на экспорт» — показать клеветникам на Западе, что, хотя большинство космополитов — евреи, есть среди них и свои, вполне советские люди. Именно к таким относится и Эренбург, столь популярный у западных либералов.

В это самое время получил я приказ ехать с группой моряков в Рим, для приемки кораблей. Так волею случая очутился я в

Риме одновременно с Эренбургом, выполнявшим, само собой разумеется, куда более важную миссию.

Но в этот раз даже ему, прирожденному оратору и полемисту, пришлось нелегко. На разрекламированной заранее пресс-конференции Эренбурга корреспондент газеты «Мессаджеро» спросил у знатного гостя:

— Не кажется ли вам, что развернутая советской печатью и радио борьба с космополитизмом носит ярко выраженный антисемитский характер? И не напоминает ли она лично вам, господин Эренбург, средневековые процессы Инквизиции над ведьмами и еретиками?

На что Илья Григорьевич, после секундного замешательства, пояснил — нелепо здесь проводить какие-либо параллели с тогдашним варварством. Это — всего-навсего особая, новая форма критики и самокритики. Вот ведь и его самого крепко ругали в газетах, но никаких административных мер не приняли. Сами видите, он свободно и откровенно беседует с итальянскими журналистами, не чураясь никаких сложных тем.

Да, Илья Григорьевич Эренбург ради бренной славы и самосохранения нередко поступался чувством стыда и совести. Но после хрущевского разоблачения культа личности он написал глубоко искреннюю повесть «Оттепель», и слово это стало символом недолгого, увы, светлого времени после сплошной сталинской тьмы.

На склоне лет у словоборца, правдолюбца и мастера компромиссов с собственной совестью хватило душевного мужества раскаяться в своей слабости, а порой и приспособленчестве. В конце жизни Эренбург поверил твердо, что для Страны Советов худшее позади и наступает время глубинных реформ.

Увы, тут он ошибался. После недолгой оттепели на долгие годы воцарилось в стране брежневское безвременье, не такое, правда, страшное, как период сталинской тирании.

Это, однако, вовсе не мешало органам по-прежнему преследовать всех тех, кто шагал не в ногу с режимом. Тому пример замечательный поэт Иосиф Бродский, вначале за свою «антисоветчину» угодивший в тюрьму, а затем, уже в спокойном 1972 году, изгнанный из России как антисоциальный элемент.

Супербдительный КГБ не обделял своим вниманием и подозрительных иностранцев. Когда уже после смерти Пастернака в 1960 году мой друг Рипеллино напечатал подборку его стихов, он предпослал ей коротенькое предисловие. И были в нем и такие слова:

«В другой стране такому поэту при жизни поставили бы

памятник, а в Советском Союзе его, ошельмовав и затравив, преждевременно свели в могилу».

Сразу же верный друг Союза «замечательный славист» Анджело Мариа Рипеллино превратился в злобного антисоветчика и клеветника. В иностранной комиссии решено было отныне Рипеллино в Страну Советов не пускать, ибо он гнусно злоупотребил ее гостеприимством и открытостью. Ясное дело, верный служака Георгий Брейтбурд в стороне от поношения Рипеллино не остался, о чем Анджело и поведал мне в своем гневно-печальном письме 17 марта 1961 года:

«Дорогой Лев,

не писал тебе раньше потому, что меня не было в Риме. Я получил книгу о Мейерхольде и очень тебе за это благодарен. Увы, в мае приехать в Москву не смогу, хотя мне нужно непременно побывать там, чтобы закончить книгу о советском театре двадцатых годов.

Сюда приезжали Эс. и Георгий и оба в стиле базарных торговцев обрушились на меня за мои статьи. Я им ответил подобающим образом — вульгарной критики я не признаю, а вот дружескую вполне принимаю.

Сервильность и ограниченность нашего толстяка Жоры меня буквально потрясла. Он дошел до того, что обвинил меня в „париолинизме“ (Париоли, как ты знаешь, — элегантный квартал в Риме). И все лишь потому, что мой стиль ярок и колоритен. А еще он упрекнул меня в том, что я пытаюсь включить русскую литературу в ткань общеевропейской литературы и искусства. Точно русская литература — это литература марсиан. Впрочем, обо всем в одном письме не расскажешь. Все-таки я не теряю надежды приехать в Москву на свои средства, избежав монопольной власти того, кто распоряжается у вас всеми итальянскими литературными делами. Моя любовь к русской литературе не должна быть задушена рукой Бюрократа. Но хватит об этом, и прости меня за эти жалобы.

Буду тебе благодарен, если пришлешь мне последние стихи Межирова и книгу Тендрякова „За бегущим днем“ — я выдвинул Тендрякова кандидатом на получение международной премии Форментор.

Самые теплые пожелания твоим близким, а тебя обнимаю.

Твой Анджело».

История эта имела неожиданное продолжение. Спустя полгода Брейтбурд вновь прилетел в Рим и вечером позвонил Рипеллино. К телефону подошел сам Анджело и на слова Жоры:

«Могу я поговорить с Рипеллино»? — после короткой паузы ответил: «Париолинист Рипеллино просил передать, что его нет дома».

Сколько все-таки разноречий и многоточий уживается в одном человеке! Бравый чинодрал и наглый цензор Георгий Брейтбурд по-своему искренне любил итальянскую и русскую литературу. Писатель Карло Леви даже посвятил ему в своей книге «У России древнее сердце» целую главу.

Ну, а поступки некрасивые, а порой и подлые он в жизни своей недолгой — он умер в семьдесят шестом году от инсульта — совершал «страха ради» и свойственного многим раболепия перед властью.

Страх же этот, вековечный, генетический, за годы сталинщины и застоя стал и вовсе повальным. Каюсь, я далеко не уверен, что и перестройка помогла избавиться от него раз и навсегда. Но как говорил мне, подучив русский язык, итальянский поэт Джованни Джудичи: «Будем надеять». Очень хочется верить, что этот кардинально важный глагол обретет наконец в многострадальной России невозвратную форму.

Глава девятая

Давно уже один мудрец сказал: «Меняются не времена, а люди». Вот и теперь многие и в бывшем Советском Союзе, и новые эмигранты до того расхрабрились, что разносят в пух и прах вчерашних кумиров, классиков марксизма-ленинизма за их не только ошибки, но и дела гнусные, порождение фанатизма и душевной слепоты. Они и в выборе средств борьбы проявили полную неразборчивость, и силой стремились загнать людей в мнимый рай земной.

Все так, все справедливо, но где мы сами прежде были, куда глядели.

Вот и бесспорно крупный социолог, безвременно ушедшая из жизни Цецилия Кин сочла нужным осудить в итальянской газете «Коррьере делла сера» покойного главу итальянской компартии Тольятти за беспрекословное повиновение в Коминтерне приказам Кремля и за восхваление сталинизма.

От суровых истин никуда не уйти. Тольятти и впрямь приложил руку к сокрытию письма основателя компартии Грамши, присланного из фашистской тюрьмы. В нем Грамши возмущался преследованиями Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева и других большевиков из старой ленинской гвардии. Безусловно, писал Грамши, с ними можно и нужно вести полемику, но как с товарищами по партии, а не как с классовыми врагами.

Только из памяти не исчезает эпизод из непостижимо далекого пятьдесят девятого года.

Я пришел в гости к Цецилии Исаковне Кин и увидел у нее худого, седовласого мужчину со шрамом на лбу. Напористым, сильным голосом он клеймил позором палачей, вершивших массовые убийства тридцатых годов. А дальше гость впал в еще большую ересь — объявил, что если Владимир Ильич был кристально честным политиком и человеком, то Сталин со временем превратился в коварного честолюбца. Это он бесчестно принес великую идею в жертву своим неуемным амбициям. В последние же годы в нем и вовсе стали все явственнее проявляться черты бонапартизма.

Цецилия Исаковна подтвердила — Сталин отступился от ленинских идеалов. А уж бонапартистские-то тенденции у него возникли много раньше — уже в конце двадцатых годов.

Слушал я их обоих, и не покидала меня весьма печальная мысль: сколько же им нужно было отсидеть в тюрьме, лагерях и ссылке — а каждый из них пробыл там больше пятнадцати лет, —

чтобы они хоть что-то поняли и чему-то научились?

Понятное дело, тот наш разговор не обошелся без спора о двадцатом съезде. Седовласый гость горячо доказывал Цецилии Исаковне и мне, что, хоть Хрущеву и не откажешь в мужестве, ему явно недостает глубины и точности подлинно марксистского анализа истории.

Тут Цецилия Исаковна согласно кивнула.

— Что ни говорите, а сказалась его идейная неотесанность! — воскликнул гость, поблескивая россыпью золотых зубов.

— Своих у него не осталось, их все до одного выбили у моего друга садисты следователи, когда выколачивали показания против скрытых троцкистов, — шепнула мне Кин.

Мою бывшую преподавательницу Маркову-Пешкову арестовали в 1938 году и в тюрьме при допросе выбили ей верхние зубы. Старого коммуниста, друга Цецилии Исаковны, чекисты схватили годом позже. И при первой же «беседе» выбили ему все зубы до единого. Прогресс, и явный, — налицо. Ну, а шрам на лбу появился после того, как его, полуживого, попытав жестоко, привели в карцер и бросили вниз головой на цементный пол.

Он все это вынес, не согнулся и так и остался зрячим слепцом. Как во многом и сама Цецилия Исаковна Кин.

К великому несчастью, и в стране Советской, и на Западе таких вот твердокаменных фанатиков было много больше, чем даже молчаливых неучастников чудовищного, коммунистического эксперимента.

Но и в ту пору почти повального, бездумного преклонения перед родиной победившего социализма и ее вождем Сталиным нашлись в далекой Италии люди, так и не принявшие этого зловещего маскарадного представления.

К ним принадлежал и Витторио Страда. Великолепный, энциклопедически образованный славист, открывший для итальянских читателей Михаила Булгакова. Это ему вдова Булгакова Елена Сергеевна доверила исключительное право первопечатания в Италии «Мастера и Маргариты».

Мало того, он познакомил итальянских филологов и фольклористов и с двумя «презренными формалистами» — достоевсковедом Бахтиным и отцом семиотики Лотманом, назвав их гордостью русского литературоведения. В отместку Страде, единственному из всех иностранных аспирантов, к тому же еще коммунисту, не дали защитить в Москве диссертацию на тему «Литературные теории России двадцатых годов». Обвинили его прежде всего в кощунственном пренебрежении к гениальным

идеям Ленина о партийности в литературе и барском презрении к соцреализму. Особенно усердствовал в низвержении страдизма квартет официальных и всемогущих тогда критических «орлов»: Метченко, Дымшиц, Щербина и Кочетов.

Довольно легко и быстро эта четверка чистых и заклевала грязного ревизиониста Страду. И все-таки, преодолев сильнейшую обиду, Витторио в 1963 году вновь приехал в Москву, уповая на благотворную хрущевскую оттепель.

Социализма и марксизма советского образца он не принимал на дух, но в идеалы коммунизма верил искренне и твердо. Реальную же возможность пойти, по образному выражению Ленина, «иным путем», считал он, имеет лишь его родная итальянская компартия. Насчет Союза Советских Социалистических Республик он тогда иллюзий уже не питал, хоть и не знал, на какие злодейства способны эти защитники угнетенных и обездоленных. Что же до советской литературы, то в ней господствует, и давно, соцреализм, который один шутник метко назвал сюсюреализмом, писал Страда.

Подобные откровенные высказывания устно и в статьях вполне закономерно привели советскую писательскую верхушку в тихое бешенство. В тихое потому, что Страда, увы, пользовался большим уважением многих крупных советских писателей, тогда еще не зачисленных ни в разряд критиканов, ни тем более диссидентов, — Тендрякова, Виктора Некрасова, Каверина и, особенно, Твардовского. Однако в назидание другим с упрямым уклонистом надлежало расправиться прилюдно, шумно и хлестко. Из всего уже упомянутого мною квартета лучше всего справиться с этой нелегкой задачей мог лишь Всеволод Кочетов. Ведь кроме глубинного цинизма и четкой пролетарской родословной, он был наделен еще и писательским талантом.

Ему-то и выпала честь показать всем остальным, ничтоже сумняшимся, сколь глупо и опасно спорить с УРСом, как любовно-уменьшительно называли итальянцы Советский Союз.

И вот Кочетов с толком и с чувством продумал и осуществил хитроумный планчик мести.

Поехал в 1968 году в Италию и прямиком из Рима направился в Венецию для встречи с Витторио Страдой. С какой такой целью? А с весьма даже благородной. Как он объяснил Страде, ему не терпится понять, в чем корень их разногласий. В сущности-то они друзья и даже идейные союзники, а значит, надо найти в итоге консенсус. Тогда, оказывается, и родилось это мудреное словечко с множеством невидимых рифов.

Всегда доброжелательно-вежливый и корректный, а особенно вежливым он бывает, когда собеседник ему не слишком-то

приятен, Витторио сразу повез гостя к морю. Там в милом, скромном пансионе Страда в перерывах между прогулками по берегу моря, сытными обедами и ужинами пытался втолковать московскому гостю, что подлинный соцреализм вовсе не отнимает у писателя права на творческую фантазию. Кочетов ел, пил, слушал, изредка с Витторио соглашался, а чаще ему возражал, но очень спокойно и дружелюбно.

Вся беда в том, что истинный соцреализм в основном со знаком плюс, а у Страды он чаще всего со знаком минус. И это «математическое» различие нужно, конечно же, устранить. Правда, жена Витторио, синьора Клара, родом из Москвы, вовсе не к месту заметила, что плюс на минус дает минус. Но Кочетов мгновенно парировал, что мы и математику учили не по Гегелю.

Расстались хозяева и гость вполне мирно и даже тепло, а затем… Долго ждать этого «затем» Страде не пришлось. В новом, 1969 году Всеволод Кочетов и в журнале и отдельной книгой опубликовал многотысячным тиражом роман-памфлет «Чего же ты хочешь». В нем он изобразил Витторио Страду под именем Бенито Спада как подлого ренегата, сибарита и перевертыша. Недаром он исподтишка собирал в Италии компромат на своего хозяина-венецианца, наивно поверившего в искренность и порядочность пламенного борца за торжество плюса над минусом.

Ну, а что же Витторио Страда? По натуре своей правдолюб, а по характеру тореадор, он в долгу не остался. В ответной статье назвал Кочетова Лаврентием Иосифовичем Берия и на фактах изобличил его в беспардонной лжи. И что для писателя страшнее страшного — показал стремительно растущую с годами и одновременной потерей совести бездарность сего пламенного певца секретарей райкомов и горкомов, а также простых тружеников. Именно их, людей труда, типы, подобные Страде — всякие там хлюпики в пенсне, инородцы и прочие отщепенцы, — пытаются накормить чужеземной отравой. Чего он, Кочетов, и все истинно советские люди костьми лягут, а не допустят.

Открытого, честного поединка Всеволод Кочетов не признавал. Как всегда он прибег к испытанным карательным мерам. Страда мигом попал в число особо опасных для страны Советской лиц и, естественно, стал «нежелательным элементом».

А насколько это отлучение от России было для него мучительным, говорит письмо ко мне от 5 ноября 1969 года.

«Дорогой Лев,

спасибо за твое письмо и присланные тобой книги (среди них и номера небезызвестного тебе журнала „Октябрь“). Как видишь,

я по-прежнему нахожусь в центре сильнейшей полемики, чем вовсе не горжусь. Ведь хотелось бы спокойно заниматься своей работой. Интересных новостей о себе и своей семье сообщить тебе затрудняюсь. Это говорит лишь о том, что жизнь наша идет своим чередом. Поездка моя в Советский Союз при нынешней ситуации, да еще при „содействии“ журнала „Октябрь“, становится полной утопией. А нам с Кларой отчаянно хотелось погрузиться вновь в московскую жизнь и встретиться с друзьями. Что же, наберемся терпения. Так мне и надо! Впредь буду знать, как возить на отдых к морю подобных людишек!

Ну, а ты над чем работаешь? Пиши мне, не стесняясь, о всех твоих нуждах, мне будет только приятно тебе помочь, послав необходимые тебе книги. Передай самые добрые мои пожелания твоей семье.

Со всей теплотой, Витторио Страда».

К тому времени не полемика даже, а неравное противоборство убежденного сталиниста Кочетова с убежденным марксистом Страдой закончилось преданием последнего анафеме. Ведь и марксисты бывают разные — ручные и дикие, послушные и строптивые. Хочется лишь заметить, что и многие писатели-соотечественники презирали Кочетова, но, увы, и побаивались его крепко. Еще бы — он был литературным боссом, мстительным и хитрым. Легко и просто мог он обречь любого на вечное литературное забвение. Что не помешало одному поэту-сатирику и в брежневское безвременье сочинить и распространить среди друзей и знакомых такую вот эпиграмму:

Живет в Москве литературный дядя,
я имени его не назову.
Скажу одно — был праздник в Ленинграде,
когда его перевели в Москву.

Где Кочетов, добавим от себя, на короткий срок возглавил «Литературную газету», а затем журнал «Октябрь», продолживший тогда худшие традиции октябристов. Нет, мне известно, что о мертвых, а Всеволод Кочетов давно отошел в мир иной, хорошо или ничего. Только если справедливо, что без прошлого нет будущего, то как же не вспомнить о тех, кто, выражаясь языком мастерски подтасовывающего факты юдофоба Шафаревича, своей интеллигентофобией проложил дорогу нынешним чистопородным, весьма агрессивным псевдорадетелям о судьбе России.

Для истины тоже не существует срока давности.

Глава десятая

Дошел я в своих воспоминаниях до времен почти перестроечных и крепко задумался — идти ли дальше или вернуться назад? И выбрал второе. Раз уж я решил рассказать о знаменитостях и людях с необычной судьбой, то разве можно не поведать о дорогом друге моем Примо Леви. На его долю выпали такие испытания и беды, какие и в страшном сне себе вообразить нельзя. А он не сломался, все выдержал, смог даже рассказать о том в поразительной своей книге «Человек ли это», а мне — когда я сумел наконец попасть в его родной Турин.

Состоялась же наша первая встреча летом 1968 года. Лишь тогда разрешили после долгих лет сидения в невыездных отправиться переводчиком на турнир фехтовальщиц — Трофей Мартини.

Привез я Леви и скромный подарок — подборку переведенных мною его научно-фантастических рассказов.

Маленький, сухопарый, седой как лунь, Примо Леви был необычайно подвижен и красив в каждом своем движении и жесте. Гостей он принимал сердечно, по-домашнему. А в скромную его квартиру на Корсо Ре Умберто, 75, целыми толпами приходили студенты и школьники. С одной-единственной целью — услышать от него рассказ о «вселенной мук», как сами узники называли нацистский лагерь смерти Освенцим, куда Примо Леви попал в конце войны, в 1944 году. Было ему тогда, недавнему химику в частной лаборатории, всего двадцать пять лет. Леви охотно рассказывал молодежи о старом и новом фашизме, участвовал в разных конференциях. Но где-то на донышке души хранилось такое, о чем он не хотел вспоминать, даже оставшись наедине с самим собой.

Он и со мной был мягок и деликатен, но, видно, его, скупого на проявление чувств, не слишком разговорчивого и даже замкнутого, смущала вначале моя порывистость и резкость суждений. Только года через три мы с ним перешли на «ты», и протянулась между нами незримая, но прочная нить безмолвного взаимопонимания, без которого немыслима истинная дружба. Помогло мне и то, что еще раньше я прочел его автобиографическую книгу о жизни в лагере — ведь и там тоже шла своя, чудовищная, но жизнь.

До самого того радостного дня, когда советские войска принесли освобождение примерно двум тысячам чудом уцелевших узников.

Обо всем этом Примо Леви рассказал в своем всемирно

известном романе «Человек ли это». Ну, а потом для немногих счастливцев, если их такими можно назвать, наступили замечательные и отчаянно-тяжелые дни привыкания к обретенной свободе. Они учились жить заново, как малыши учатся ходить. Вот и о перипетиях отнюдь не скорого и нелегкого возвращения из пересыльного пункта в Белоруссии в родной Турин Примо Леви поведал своим читателям во второй книге воспоминаний «Передышка».

Нет, Леви в лагерной литературе вовсе не был первопроходцем. Сразу после войны в Советском Союзе, в Англии и в самой Италии появилось немало документальных свидетельств бывших узников Бухенвальда, Треблинки и Освенцима.

Вот только книга Примо Леви «Человек ли это» разительно отличается от всех остальных — она единственная в своем роде.

К немалому своему изумлению, я не нашел в ней ни описания зверств нацистов, ни леденящих душу сцен уничтожения в газовых камерах тысяч и тысяч женщин, стариков и детей и всех ослабевших, не годных больше к работе мужчин.

Смерть в лагере была вещью повседневной, обыденной и узников ничуть не пугала. Но от этого читателю еще печальней и беспросветнее. Даже самому Примо Леви — писателю со временем стало невмоготу рассказывать о бесконечной череде пыток голодом и непосильным трудом, когда мгновенная смерть виделась как избавление от лагерного ада. И тогда он попытался вырваться из мира зловещих теней в мир фантастики. Там истории тоже нередко заканчиваются трагично, но порой они бывают веселыми и даже очень смешными. Правда, Леви настолько свыкся с лагерной темой, что не решился опубликовать улыбчивые — и это второе после спасения чудо, он и в Освенциме не утратил чувство юмора, — полные любви к людям рассказы под своим именем. Придумал себе псевдоним Дамиано Малабаила.

Вскоре, однако, был «разоблачен», и премию «Багутта» за сборник научно-фантастических рассказов жюри присудило именно писателю Примо Леви. Скромный, иной раз до робости, он сообщил мне об этом событии в коротеньком, автоироничном письме 15 января 1967 года.

«Дорогой Вершинин.

Совершенно для меня неожиданно на голову мне свалилась премия „Багутта“. Поистине, мир полон сюрпризов. Посылаю несколько газетных заметок в надежде, что это поможет вам „пробить“ мои „Естественные истории“. Хочется верить, что вы

наконец-то получили и театральную версию моей книги „Человек ли это“.

С самыми теплыми пожеланиями. Ваш Примо Леви».

Автор одной из статей в миланской газете «Коррьере делла сера» отмечал, что Примо Леви вполне заслужил столь престижную премию. При этом он, однако, задается вопросом, почему после первых двух автобиографических книг, проникнутых высочайшим состраданием к узникам лагерей, а иногда даже к надзирателям, Леви обратился к несколько абстрактному жанру научной фантастики.

С тем, что рассказы сборника «Естественные истории», остроироничные, с подчас невероятными даже для этого жанра ситуациями, свежи и блещут выдумкой, нельзя не согласиться. А вот суждение журналиста о сострадании автора к людям в его лагерных книгах представляется мне достаточно спорным. С нацистами-охранниками и капо все более или менее ясно — для Примо Леви они изверги, не испытывающие к узникам даже личной ненависти — велика честь для этой падали, годной лишь унавозить землю. Прежде всего потому, что большинство узников Освенцима, и среди них Примо Леви, — евреи, а уж их считать за людей может только буйнопомешанный.

Ну ладно, охранники-фашисты с раннего детства усвоили — они сверхчеловеки, которым исходно все дозволено. Но сами-то заключенные! Почему многие из них так быстро и безропотно утратили чувство собственного достоинства и хоть долю честности? — удивлялся Примо Леви.

Когда всех заключенных собрали на плацу и объявили, что один из них за попытку поднять вооруженное восстание будет повешен, они долго не могли оправиться от потрясения.

В лагере, где каждый день узники сотнями умирали от голода и болезней, сами бросались на решетку с током, нацисты ради уничтожения одного-единственного заключенного соорудили виселицу и не поленились согнать всех скопом на плац!

Такое в Освенциме случилось впервые. Узников поразили не только действия лагерного начальства, внезапно увидевшего в одном из них особо опасного для рейха преступника, а значит, и личность.

Невероятно другое — у храбреца-одиночки достало моральных сил обдумать план восстания и массового побега. Это когда все их помыслы лишь о том, где бы раздобыть лишнюю пайку хлеба. Иные ради куска сахара и тощей луковицы готовы были донести на соседа по нарам. Промолчать же о его смерти, чтобы тебе досталась его миска баланды, и вовсе считалось в

порядке вещей — мертвые голода не испытывают. А тут человек мало что не пытался выжить любой ценой, так еще задумал спасти всех узников лагеря. Нет, он недаром удостоился от нацистов чести быть повешенным, а не брошенным в ров вместе с сотнями других живых скелетов!

Но особенно Примо Леви потрясло обесчеловечивание вчерашних врачей, адвокатов, журналистов, художников — интеллектуалов высокой пробы, одной силой ума, казалось бы, могущих противостоять фашистской системе низведения узников до состояния безропотных рабов.

Конечно, Освенцим был куда страшнее дантовского ада, но и там находились люди, не утратившие способность сострадать и помогать своим лагерным собратьям. Один из них, итальянец Лоренцо Перроне, буквально спас Примо Леви от голодной смерти. Перроне попал в лагерь как участник Сопротивления, а значит, его не ждала быстрая, неминуемая смерть. Отменный каменщик, он вскоре стал «очень нужным», получавшим не одну, а несколько мисок супа и даже колбасу. Он-то, рискуя жизнью, и приносил тайком Примо Леви в барак миску супа, в котором, о высшее наслаждение, плавали кусочки колбасы, слив и хлебные огрызки. «Без этой, второй, спасительной миски супа я бы точно не выжил», — писал потом Примо Леви.

Но сам я вовек не забуду эпизод из «Человек ли это», когда узники из барака Леви, готовясь к очередной селекции, пытаются привести себя в «презентабельный вид». Они долго и тщательно бреются, смывают с отекшего лица грязь и копоть, чистят башмаки, разглаживают рубахи — может, тогда их не отправят сразу в газовую камеру. А пожилые, утратившие даже искорку надежды заключенные подбадривают своих более молодых друзей или соседей по нарам. Горячо убеждают их, что они еще хоть куда, аж в грузчики годятся. Ну, а им самим, старой рухляди, наверняка скомандуют «направо» и поведут в газовую камеру.

Увы, таких случаев пронзительной доброты было немного — большинство подчинилось безжалостным лагерным законам выживания.

Примо Леви не пытается встать в позу сурового судьи. Он не торопится осуждать даже тех, кто выбился в «промитенты» — так в лагере называли заключенных, которые и там умудрялись выслужиться перед нацистами. Этой пройде доставалась и более легкая работа, и лишний кусок хлеба, и место внизу. Примо Леви долгое время жил в одном бараке с Дассо, ловким, находчивым французским евреем, благополучно избежавшим газовой камеры. После войны он стал главой всемирно известной фирмы «Дассо» — той самой, что выпускает истребители «Мираж».

Так вот, Дассо тоже проскользнул в промитенты. Нет, он не совершал особо подлых поступков, не доносил на соседей по бараку. Тем больше меня поразили слова Примо Леви, когда мы впервые с ним свиделись и разговор зашел как раз о Дассо.

— На редкость волевой, крепкий… — Леви помедлил секунду-другую, — человек. Но я бы не хотел больше с ним встречаться. — И после короткой паузы: — Да и работать в его фирме тоже.

Лишь много позже я понял причину неприятия Леви этого далеко не худшего из промитентов. Моего друга отталкивала именно моральная изворотливость Дассо, владевшего редким искусством ладить и с заключенными, и с нацистской охраной. Тут недюжинный актерский талант и звериный нюх нужны. Потому я ничуть не удивился, когда Дассо — сверхуспевающий промышленник — стал преспокойно продавать «Миражи» и Израилю, и его злейшим врагам Ливии, Ираку и Сирии, — для него моральным было исключительно то, что выгодно фирме, а значит, и ему самому.

Вообще, как я заметил, Примо Леви предпочитал откровенных, проломных негодяев таким вот скользким, не ухватишь, хитрованам.

Сам же он был стеснительным, мягким человеком, не умеющим делать блистательную карьеру. После войны он вернулся в родной Турин и нашел работу в фирме Монтекатини, где возглавил химическую лабораторию. Днем корпел там над химическими анализами, а ночью, когда дома все родные — старая мать, жена, сын и дочь — засыпали, садился за воспоминания.

Они и принесли ему всемирную известность, ведь «Человек ли это» и «Передышка» были изданы во всех странах Западной Европы и в Америке. Только не в Советском Союзе. Все мои попытки их напечатать терпели полный провал.

На то были свои серьезные причины. Сразу после оккупации нацистами Севера Италии Примо Леви ушел в партизаны и был схвачен чернорубашечниками во время облавы. На допросе он сказал, что ушел в горы, спасаясь от преследований, которым подвергались евреи. Фашистский следователь сразу передал его нацистам, а те отправили Примо Леви в Освенцим, именно как зловредного иудея. А это, по рассказам самого Леви, с первого же дня лишало его почти всякой надежды уцелеть. Любого из евреев в Освенциме ждала участь трупа или горсти пепла. Мизерный шанс не попасть сразу в газовую камеру получали лишь ремесленники: слесари, столяры, портные, сапожники — да еще наиболее сильные инженеры, физики и химики. Примо Леви как

раз и принадлежал к последним. Он еще до войны успел окончить университет и, несмотря на молодость, приобрел немалый опыт работы.

Шел 1944 год. Немцы под ударами союзников отступали на всех фронтах, и толковые химики нужны были им позарез. Так Леви, став «ценным евреем», избежал первых массовых селекций. Потом он тяжело заболел, и немцы решили, что эти доходяги помрут еще до прихода советских войск. Оставляя лагерь, они всех мало-мальски здоровых мужчин отправили на марш смерти. А доходяги дождались-таки прихода советской армии, и некоторые из них умудрились уцелеть и оправиться от, казалось бы, неизлечимого недуга. Сам Леви попал в Белоруссию на пересыльный пункт и в своем романе «Передышка» с неподдельной симпатией рассказал о встречах с белорусскими крестьянами. Разоренные войной и немецкой оккупацией, они делились с бывшими узниками лагерей последней краюхой хлеба и драгоценными тогда спичками. Не все, конечно, но многие.

Все равно, Примо Леви ни на миг не забывал, да и кто бы позволил ему о том забыть, что он еврей. Поэтому неудивительно, что в романе «Человек ли это» он много и подробно рассказывает о трагической судьбе евреев в Освенциме, безразлично, богатых или бедных, умных или глупых, добрых или злых, верующих или атеистов. Достаточно было получить на рукав желтую звезду Давида, и ты обречен на гибель.

Именно эта их, в отличие от других узников, изначальная безысходность из-за одной лишь принадлежности к еврейству и смущала сильно всех московских редакторов журналов и издательств.

Примо Леви, с его муссированием будто бы извечной еврейской проблемы в странах рассеяния, для нас неактуален, утверждали редакторы в один голос — и поди попробуй их переубеди.

Ах, переводчики доказывают, что Леви — талантливый писатель европейского звучания? Прекрасно, его научно-фантастические рассказы мы охотно напечатаем.

Сам Примо Леви вовсе не был столь наивен, чтобы не догадываться, почему в Стране Советов его лагерные воспоминания остаются невостребованными.

— Понимаю, Лев, понимаю! Зачем портить вашим обывателям сон и аппетит моими рассказами о судьбах евреев Освенцима, — сказал он мне при новой встрече. — Они хотят и дальше жить в блаженном неведении, и это их неотъемлемое право. Не так ли?

Я старательно и молча размешивал сахар в стакане с крепким чаем.

— Думаешь, у нас на Западе мало таких добровольно-глухонемых? Их хоть отбавляй. — Леви отпил давно остывший чай и с печальной улыбкой заключил: — Считай, мне еще повезло, мои рассказы вы все-таки напечатали. Глядишь, со временем и «Передышку» опубликуете. В этой-то книге евреев куда меньше, чем в «Человеке». А главное, своих симпатий к людям вашей страны я ничуть не скрываю. Подождем, чего-чего, а терпения нам, евреям, не занимать.

Обнадеживать Леви я тогда не стал — стыдно все же притворяться эдаким простачком-оптимистом. Сказал только, что попыток своих не оставлю. Ну, а если хоть одна из стран-союзниц по лагерю социализма напечатает «Человек ли это», у меня появится крупный козырь — наши до чертиков не любят плестись в хвосте. И наконец мои надежды сбылись — в 1976 году «Человек ли это» опубликовали в Румынии и Польше.

Увы, и эта радостная новость прорыва мне не облегчила. В Союзе еще готовы были опубликовать «Дневник Анны Франк» — ежедневные записи еврейской девушки из Голландии, погибшей потом в нацистском концлагере. Но книгу о невиданном в истории геноциде против всего еврейского народа издать в стране победившего социализма так и не решились. Больно уж тема деликатная и опасная.

Прежде были крестовые походы с их попутными, по дороге в Иерусалим, погромами и средневековая инквизиция. Но тогда еврей хоть мог принять христианство и тем спасти себе жизнь. А гитлеровские сатрапы отправили в лагеря смерти сотни евреев, перешедших в другую веру, и среди них несколько монахинь. Недаром оба диктатора, Гитлер и Муссолини, ненавидели церковь и Христа, как бы оспаривающего их собственную божественную суть и высшее предназначение. Не случайно Муссолини в годы войны, беседуя со своим зятем Чиано, клеймил позором «этого еврея Христа». Это он своим иудейским учением погубил итальянский народ, превратив храбрых воинов в слабых, трусливых людишек. Гитлер тоже отнюдь не жаловал церковь, только не католическую, а протестантскую. И она платила ему в ответ тайной неприязнью, на большее, понятно, не осмеливаясь.

Пролетали год за годом, а феномен нацифашизма, его глубинных корней оставался неразгаданным до конца. Ведь он не укладывается ни в какие социологические и политические рамки. И что еще хуже — не поддается серьезному, логическому объяснению. Похоже, есть нечто темное и жестокое в самой природе человека.

Ну, а Примо Леви, видно, устал ждать ответа на терзавший его днем и ночью вопрос: так человек ли это?

За свою жизнь я знал семь узников нацистских лагерей и гетто, и все они были отмечены знаком обреченности.

Не избежал этой участи и Примо Леви. Смерть упустила его в Освенциме, но настигла в марте 1987 года на лестничной площадке третьего этажа его дома, откуда он вниз головой бросился в лестничный пролет.

Прошлое оказалось сильнее его крепкой воли и спасительного инстинкта самосохранения.

За два месяца до самоубийства он прислал мне из Турина поздравительную открытку.

«19.01.87 года.

Дорогой Вершинин,

нет, я не получил отправленного тобой письма, а только открытку. Полностью разделяю твои новогодние надежды. Желаю тебе и твоим близким крепкого здоровья и удачи в работе и в жизни. Буду рад каждой вести о тебе, о том, как вы там живете и сбылась ли твоя надежда „пробить“ и другие мои рассказы. Жена моя тоже крепко жмет тебе руку и шлет сердечные поздравления.

Твой Примо Леви».

Теплое, дружеское письмецо, никак не предвещавшее близкую трагедию. Тем внезапнее и горестнее стала для меня весть о смерти моего туринского друга.

С потерями друзей, а они неизбежны, надо было бы наконец смириться, да вот не могу. Особенно когда человек сам лишает себя жизни. Какое из ужасных воспоминаний толкнуло Примо Леви на прыжок в бездну, откуда нет возврата?

Наверно, и на этот вопрос, как и сам Примо Леви на свой — остались ли мы людьми в безжалостно-кровавом двадцатом веке, — я уже никогда не найду ответа.

Глава одиннадцатая

Примо Леви по крайней мере с приходом в Турин нацистов знал точно, что его ждет, как еврея. А мой очень близкий друг и по сей день Луче д'Эрамо, наоборот, была уверена, что немецкие нацисты и уж тем более итальянские фашисты борются за правое дело, во имя светлого будущего двух этих стран-союзниц. Иначе и быть не могло.

Отец ее, бывший летчик, во времена Муссолини сделал блистательную карьеру — к сороковому году стал вице-министром авиации. Мать — из весьма состоятельной семьи — во всем безропотно повиновалась мужу, убежденному фашисту первой волны. До войны они подолгу жили всей семьей во Франции, где было еще легче поверить барабанной фашистской пропаганде. Все газеты и журналы муссолиниевского черного двадцатилетия неустанно твердили о высочайших идеалах фашизма, его редчайшем бескорыстии и благородстве. Но началась Вторая мировая война, и Луче д'Эрамо вернулась в родной Рим. Там она вскоре познакомилась с румынским графом Георгом, и два месяца спустя он стал ее официальным женихом. Жизнь складывалась бы просто счастливо, если бы не рассказы Георга о зверствах нацистов даже в союзной Румынии. Поклонники Шиллера и Гёте и там создали пересыльные лагеря для недавних советских военнопленных и антифашистов. И обращаются нацисты с ними куда более жестоко, чем древние римляне с рабами. О евреях же и говорить не приходится — их нацисты чаще всего убивают на месте, а потом голыми бросают в ров. Луче слушала его, содрогаясь от ужаса, веря ему и не веря. С отцом говорить об этом она не решалась. Он и после того, как Муссолини, свергнутый собственным «Политбюро», бежал с помощью нацистов в Северную Италию, остался преданным слугой своего хозяина. Любую самую робкую критику действий эсэсовцев отец называл «баснями злобных пораженцев и тайных врагов режима».

Да, но Георг приводил такие точные, леденящие душу подробности, что считать их сплошной выдумкой никак не удавалось. Рушились одни за другими все ее фашистские идеалы и розовые иллюзии. Так кто же из двух, отец или Георг, не лжет?!

И тогда Луче решает, само собой тайком от родителей, добровольно отправиться в рабочий немецкий лагерь — узнать, есть ли хоть доля истины в рассказах жениха. Ночью переходит границу с Германией и после двух дней скитаний попадает в рабочий лагерь СН 89, в окрестностях Франкфурта. Сюда

гитлеровцы сгоняли для работы на заводах концерна «Фарбениндустри» «добровольцев» из СССР и захваченных ими стран Европы.

Не прошло и двух недель, как Луче убедилась, что рассказы Георга вовсе не плод его фантазии.

Непосильный труд и постоянный голод — морковка и не очень гнилая картошка были великой радостью — косили людей, как траву в поле.

Увы, даже общее, каждодневное страдание далеко не всегда объединяло узников.

В своей автобиографической книге «Отклонение», принесшей после войны Луче д'Эрамо, как до этого Примо Леви, всеевропейскую славу, она отмечает такую печальную закономерность. Раньше всех в рабочих лагерях погибали те, кто утрачивал веру в себя, и те, кто утрачивал веру в честность других. Первым уже не казалось диким, что у них нет больше ни имени, ни фамилии, а есть лишь номер, и надзиратели считают их, словно скот, поштучно. Не оставалось у них и моральных и физических сил не то что на борьбу, но даже для самосохранения. Вторые, наоборот, пытались выжить любой ценой. Ради лишнего куска хлеба, миски похлебки способны были на любую низость. При этом они легко и быстро находили себе оправдание: «Другие ради той же похлебки на брюхе ползают перед надзирателями, терпят самые дикие издевательства, а мне тоже жить охота».

Забывали только, что всегда находился еще больший негодяй, способный за пайку хлеба спокойно предать и отправить на смерть вчерашнего «компаньона».

Оба эти пути, которые вели либо в могилу, либо в капо, если ты оказывался особо безжалостным и подлым, Луче отвергла сразу и бесповоротно. Она твердо верила, что и в лагере можно и должно сохранять человеческое достоинство. Даже ценой собственной жизни.

К несчастью, ее положение было трагическим вдвойне. Ведь поначалу она очутилась в полном одиночестве. Порой ей не с кем было даже словом перемолвиться. Многие солагерники приняли Луче за фашистскую шпионку и доносчицу. Они не просто ее боялись, а ненавидели лютой ненавистью. Представить себе, что дочь фашистского министра, близкого друга Муссолини, добровольно обрекла себя на лагерные муки, чтобы только понять истинную суть нацизма, они никак не могли. Слишком это было фантастично.

А тут еще Луче получила из Италии письмо от матери. Лагерное начальство милостиво дозволило вести переписку с родными — одно письмо в две недели — только англо-

американским и французским военнопленным и «фрайарбайтерам».

Луче спустя месяц отправила матери письмо — с ней она все-таки была в более теплых отношениях, чем с отцом.

Желая ее успокоить, солгала, будто еды здесь хватает. Только вот в бараке изрядно холодно. Не может ли мама прислать ей из дому теплые ботинки или сапоги? Мать мигом ответила, что наконец-то избавилась от ужаса после внезапного исчезновения дочери. А в конце письма не забыла доченьку неразумную упрекнуть: «Я всегда знала, что слухи о жестокости немцев в лагерях — наглая ложь. Поэтому тебе воистину нелепо было подвергать себя огромной опасности — ведь англичане безжалостно бомбят города Германии — во имя постижения и без того неоспоримой истины о благородстве наших немецких союзников. А еще, Лучетта, боюсь, как бы ты не схватила воспаление легких. Одевайся, дорогая, потеплее». Это при том, что у Луче было лишь драное летнее пальтишко да тоненький шарфик…

Ясно, что переписка Лучетты с матерью лишь укрепила подозрения тех узниц, которые отважились даже тут продолжить борьбу с нацистами. Настал момент, когда Луче стала подумывать о самоубийстве. Спасла ее французская партизанка Мартин. Она с самого начала удивлялась, как это нацисты не сумели придумать для шпионки легенду похитрее и поумнее. Какой же дурак или дура станет делиться тайнами лагерного подполья с дочерью министра фашистской Италии?

Соседки Луче по бараку подобным сложным раздумьям не предавались. Однажды вечером они избили ее до крови, пообещав в следующий раз и вовсе прикончить. Луче не выдала надзирателям ни одной из них, хотя видела всех в лицо, да они и не таились. Теперь Мартин ясно поняла — Луче вовсе не враг, а вскоре смогла убедить в том и подруг.

В рабочем лагере действовала подпольная интернациональная группа, о чем Луче даже не подозревала.

Ядро ее составляли недавние французские партизаны Аллен, Этьен и Мартин, четверо поляков — участников Варшавского восстания — и советская военнопленная по имени Грушенька. Штаб в строжайшей тайне готовил забастовку иностранных рабочих. По совету Мартин решено было привлечь к подготовке и Луче.

Узникам сильно мешала языковая разобщенность. А Луче, кроме родного итальянского, знала французский и немецкий, а в лагере научилась говорить и по-русски. Вот она-то и могла стать незаменимой связной. Конечно, в случае провала ее ждали пытки

и мучительная смерть. Обо всем этом Мартин откровенно сказала Луче и посоветовала ей хорошенько подумать. Но к тому времени Луче стала убежденной антифашисткой и без раздумий согласилась.

2 июня 1944 года лагерь СН 89 не вышел на работу. В первый момент начальство растерялось, и подавить забастовку удалось лишь к вечеру. Сразу началась беспощадная расправа. Штаб забастовщиков — Аллена, Мартин, Этьена, Грушеньку — нацисты отправили в Дахау, где все они и погибли. Сама же Луче уцелела только потому, что никто из членов штаба и под пытками не назвал ее имени. Однако вскоре она, вконец ослабевшая, с тяжелейшей дистрофией, оказалась в больнице. Врач написал ее матери, что в лагерных условиях Луче и месяца не протянет. И тогда по ходатайству отца-министра, о чем Луче не знала и не просила, ее отпустили домой.

Четыре дня тяжелейшей дороги — и вот Луче снова в родной Италии. Только не в городе Комо, где теперь находились ее отец и мать, а в Вероне, у подруги. Родные ждут ее с минуты на минуту, а Луче решает… вернуться в свой рабочий лагерь. Почему? Да потому, что цель своей жизни она видит теперь в том, чтобы не дать себя запугать и превратить в трусливого раба. А главное, что бы ее там ни ждало, она разделит судьбу стойких врагов нацизма, своих недавних солагерников. В городе наступил комендантский час, но Луче осталась на улице. Хотя знала, что эсэсовцы уже начали облаву.

Патруль мгновенно схватил девушку и отвел в городскую тюрьму. Короткий допрос — свою подлинную фамилию она скрыла, — и ее вновь отправляют в лагерь. Но не в СН 89, а в Дахау. Ведь она явная, закоренелая антифашистка — посмела обозвать их, эсэсовцев, канальями.

Дахау сами гитлеровцы называли лагерем «поэтапного уничтожения заключенных». Здесь избиение узников было делом ежечасным, а пытки и убийства — повседневным. Но в редкие минуты «затишья», когда охранники и надзиратели отдыхали за шнапсом и закуской, у них были обычные, незлые даже лица. В той, мирной жизни, пишет Луче, их вполне можно было принять за чиновников, мастеров на заводе, почтовых служащих. Большинство из них таковыми и были в долагерные времена. Однако они все до одного прошли нацистскую школу «бездумности и безнаказанности своих действий».

Похоже, самое страшное как раз и заключается в «нормальности» пыток и убийств, которые нацисты и их сообщники воспринимали как обыкновенную работу. Да еще и прекрасный способ обогатиться. Уничтожив очередную партию

заключенных, они спокойно вырывали у мертвецов золотые зубы, снимали одежду, башмаки. Так вершился их бизнес на крови.

Правда, Луче д'Эрамо в конце своей книги «Отклонение», когда на лагерные воспоминания наложился опыт почти двадцати послевоенных лет, приходит к умозаключению довольно-таки неожиданному. Теперь у нее возникла мысль, что не только сломившиеся морально узники, но и многие надзиратели, охранники, капо тоже были рабами, послушными исполнителями воли нацистских главарей и монополий. А раз и они рабы, слуги хозяев, их надо не всей душой ненавидеть, а презирать.

Однако своими же личными лагерными воспоминаниями Луче сама опровергает эти более поздние рассудочные умозаключения.

Когда мы впервые встретились с ней (а до этого общались по телефону) в Риме в 1975 году, я напомнил Луче эпизод о ее неудачной попытке бежать из лагеря.

Поймали ее во Франкфурте, и расправу над беглянкой учинил собственноручно лагерфюрер герр Барек.

«Гнусная тварь, — удар ногой в живот, — предательница, — новый удар. — Да я тебя сейчас прикончу, — кричит он.

А я не отрываю от него взгляда, из моего горла еле слышно вырывается „Teige“ — трус. Безостановочно и как бы машинально я повторяю: „трус, трус, трус“, точно в этом слове сосредоточилась вся моя воля к жизни».

Луче отложила свою книгу и тихо сказала:

— Ты прав, Лев. В тот момент я не задумывалась, раб он или нет, я смертельно его ненавидела. Значит, и такое забывается. А ведь помнить это надо всегда, до последнего дня.

Одно Луче подметила с абсолютной, неоспоримой точностью. Даже в Дахау существовало разделение узников на три категории. К первой принадлежали «арийцы», заключенные из стран Западной Европы. Лишь им дозволялось пусть крайне редко, но получать продовольственные посылки от Международного Красного Креста. А в выходной день они могли на целые двенадцать часов покинуть лагерь. Вторую составляли советские военнопленные. Их постоянно избивали, пытали и часто просто убивали за малейшую провинность. Но все-таки реже, чем евреев. Они, евреи, входили в низшую, третью категорию «недочеловеков», обреченных на истребление повальное.

Убивали не сразу. В своем большинстве это были ремесленники: портные, сапожники, столяры из восточноевропейских гетто и городков. А значит, до поры до времени их можно использовать как опытную и толковую рабочую силу на нужды Третьего рейха. Ну а евреи — врачи,

химики, инженеры в самом конце войны, по словам Луче д'Эрамо, воспринимались нацистами как «ценный умственный капитал».

Все равно, узники-евреи знали, что рано или поздно их ждет в Дахау смерть. Но одна-единственная надежда все-таки теплилась.

Знакомый Луче, лагерник с нашивкой — «красным треугольником», иными словами, уголовник, рассказал ей, что друзья-евреи доверили ему тайну: нацисты будто бы ведут со швейцарским правительством секретные переговоры. Обсуждается возможность продажи большой группы узников-иудеев за весьма, понятно, крупную сумму денег. Проблема лишь в том, где ее заполучить, и быстро.

Насколько мне известно, переговоры эти завершились ничем — Швейцария была нейтральной страной больше на словах, чем на деле.

Вернемся, однако, к судьбе Луче д'Эрамо. Из проклятого Дахау ей удалось бежать во время бомбежки городка союзной авиацией. Убежище же в городе Майнце ей дал ее сотоварищ по лагерным мукам, поляк, раздобывший себе и Луче фальшивые документы. Она даже сумела устроиться работать уборщицей в гостинице.

Казалось бы, сиди себе тихонько в своей конуре и не высовывайся — благо войска союзников в каких-нибудь двадцати километрах от города. Но после очередной бомбежки к Луче и Иоханну подбежала немецкая девушка и, плача навзрыд, крикнула, что под развалинами лома остались ее отец с матерью. Разве могла Луче не прийти ей на помощь! Она бросилась откапывать заживо погребенных под обломками немцев. В самый разгар работ на нее рухнула стена. Спас Луче от верной смерти ее друг Иоханн. Прыгнул в дымящуюся воронку и вытащил раздавленную балкой, полуобгоревшую и потерявшую сознание Луче на улицу.

Ее привезли в больницу, врач осмотрел ее и сказал, что она мертва. Собрались отнести ее в морг, и тут Луче открыла глаза и сказала по-немецки: «Я пока еще не умерла».

Врачам удалось сохранить ей жизнь, но ноги навсегда остались покалеченными. Надо было обладать огромным мужеством, чтобы перенести затем в Италии семнадцать тяжелейших операций и вопреки всему вернуться к активной жизни. Луче смогла закончить в Риме университет, стать прекрасным журналистом и переводчиком, выйти замуж и родить сына.

Увы, семейная ее жизнь сложилась весьма неудачно. Когда Луче уже не могла ходить на костылях, а передвигалась и по

комнате лишь в инвалидной коляске, муж стал донимать ее разговорами о ее физической ущербности.

Вскоре они развелись. Женщина воли не железной даже, а стальной, Луче выдержала и это тяжкое испытание. Продолжила борьбу за права инвалидов, печатала статьи в римских газетах и журналах, а главное — написала книгу воспоминаний «Отклонение».

Книгу переиздали в Италии уже 12 раз, она опубликована почти во всех странах Западной Европы, в Японии и Америке, но не в России.

Еще в 1974 году я предложил издательству «Прогресс» перевести ее на русский язык и познакомить с ней широкого советского читателя.

Бдительный редактор ответил решительным «нет». Доводы были иными, чем при отказе печатать книгу Примо Леви «Человек ли это», однако почти схожими.

По его словам, в книге — он прочел ее на французском языке — нацисты, конечно, предстают хладнокровными убийцами. Только ведь и сами узники выглядят часто жалкими, безвольными существами, неспособными противостоять хоть как-то своим мучителям.

— Но была же в рабочем лагере и забастовка! — возразил я.

— Так это всего лишь мелкий, нехарактерный эпизод, — парировал редактор.

Бесспорно, «Отклонение» — книга не только предельно откровенная, исповедальная, но и тяжелая, трагичная. Порой до отчаянья. Все так. Но за таких людей, как мой друг замечательная итальянская писательница Луче д’Эрамо, я испытываю глубокое чувство гордости.

Глава двенадцатая

Да, итальянские мои воспоминания столь трагичны, что может сложиться впечатление, будто большой писатель вообще не может возникнуть без жизненных катастроф. Меж тем я хорошо знал двух чудесных итальянских писателей, Итало Кальвино и Альберто Моравиа, чья жизнь сложилась более спокойно. Начну с Итало Кальвино.

Когда Моисей наставлял свой народ, то требовал от него не поддаваться ни чувству зависти и злобы, ни любви и жалости. Судить всегда, говорил он, нужно только по справедливости.

Какое емкое и точное это слово — справедливость! Насколько бы стали люди лучше, проверяй они именно им свои мысли и поступки.

Но вот незадача — почти каждый понимает справедливость по-разному; больше того, порой один и тот же человек со временем начинает воспринимать ее иначе, чем прежде. Именно так и случилось с Итало Кальвино. Он изначально видел в служении справедливости, неотделимой для него от слова «коммунизм», цель и смысл всей своей жизни.

С ним, как и с остальными итальянскими писателями, свел меня Анджело Мариа Рипеллино. А свое письмо о нем заключил такой вот грустной шуткой:

«Кальвино очень хороший писатель и прекрасный коммунист, а со временем наверняка станет прекрасным писателем и очень хорошим коммунистом. Конечно, если не убедится по пути, что коммунизм — любительская, ненаучная фантастика, которой почему-то увлеклись даже трезвые, умные люди».

Анджело как в воду глядел.

В годы войны Кальвино храбро сражался в партизанском отряде против своих и немецких фашистов и был убежденным, правоверным коммунистом. Его жизненный принцип был «сделать выбор — значит действовать». При этом всегда по велению совести.

Въедливая совесть его и подвела. Когда осенью трагического 1956 года защищать коммунизм венгерского покроя примчались в Будапешт советские танки и десантники, Кальвино выступил с публичным протестом. Он потом говорил мне, что после мучительных раздумий понял: это была чудовищная, бесчестная акция.

Ну а отсюда всего один шаг до осознания той горькой истины, что партийная дисциплина надела на его совесть намордник. И тогда он послал в свою любимую прежде газету

«Унита» письмо о выходе из итальянской коммунистической партии.

«Честно признаюсь — я больше не в состоянии быть писателем, безропотно принимающим любые ее постулаты», — писал он.

А чуть раньше в журнале «Иностранная литература» появилась статья о чудесном писателе-коммунисте и преданном друге нашей советской страны Итало Кальвино. Следом в редакцию полетело письмо одного весьма бдительного товарища. Он возмущался от души таким откровенным прославлением оголтелого двурушника, тайного пособника фашистов. Автор статьи, Цецилия Исаковна Кин, прочтя то гневное послание, сразу поняла, какими это грозит ей последствиями. Она позвонила мне и попросила прийти как можно скорее. Потом мы до поздней ночи сочиняли «оправдательное» письмо. В нем мы особо подчеркнули, что Кальвино как был, так и остался убежденным антифашистом. Больше того, он вовсе не отвергает марксистское учение, а лишь усомнился, правильно ли его применяют в некоторых восточноевропейских странах.

Объяснение наше, очевидно, показалось редакции журнала достаточно веским. Тем более что она вовсе не была заинтересована раздувать громкое дело. В итоге Кальвино был вскоре реабилитирован.

Только не подумайте, будто в этом крайнем случае я прибег к тактике скрытого обмана. Кальвино был не из тех, кто говорит одно, думает другое, а делает третье. Веру в марксизм, который он воспринимал теперь как новую мораль, отвергающую лицемерные буржуазные традиции и догмы, он сохранял еще долго. До самых чехословацких событий, расстрелявших последние его иллюзии.

В 1964 году, когда венгерские страсти поулеглись, удалось опубликовать повесть Кальвино «Облако смога». Редакторы не возражали, ведь она была кругом антибуржуазная и, если называть ее сегодняшним языком, экологическая. Обо всем этом я написал Кальвино, попросив, однако, разрешения сделать небольшие купюры. Там, где он сравнивал христианскую мораль с марксистской, находя, что обе они идеалистические, одухотворенные. Понятно, для тогдашних советских редакторов подобное сближение двух «религий» было неприемлемым. В ответ я получил от Кальвино такое письмо:

«Дорогой Вершинин,

спасибо за приятные вести. А самое большое спасибо за то, что хотите перевести „Облако смога“. Я считаю эту мою повесть

самой значительной из всех, и если она будет напечатана в Советском Союзе, это доставит мне огромную радость.

Вы просите у меня согласия сделать несколько купюр или смягчить мои умозаключения на страницах 561 и 562, из однотомника моих рассказов и повестей.

Должен прямо сказать, что я весьма дорожу высказанными мною там мыслями. Это — мое кредо стоической морали, которая, по-моему, никак не противоречит морали марксистской. Мысль моя такова — христианская мораль находит свое высшее выражение в благородных поступках тех, кто не верит в рай и, уж во всяком случае, не задается вопросом, существует он или нет. Иными словами, находит „рай“ в самом своем честном поступке, а не в посмертной награде. Точно так же и коммунистическая мораль особенно высока, когда человек на грешной земле ощущает себя счастливым уже потому, что поступает как коммунист. Знаю, отлично знаю, что идея моя спорная, но я и не настаиваю на своей непогрешимости. Тут все под вопросом. Но полагаю, что такая вот моральная проблема может вызвать интереснейшие, живейшие споры и в Советском Союзе.

А потому не даю согласия ни на малейшие купюры в строках о морали.

С сердечным приветом. Итало Кальвино».

Как я уже говорил, Кальвино, убежденного революционера, добил разгром «пражской весны». Но то, что великий русский писатель Владимир Набоков называл «синдром неучастия», появилось у него много раньше.

Впервые мы встретились с Кальвино в 1966 году в смоговом Турине, куда я приехал переводчиком со сборной советских фехтовальщиц — иностранная комиссия Союза писателей по-прежнему держала меня в невыездном карантине. Поединки рапиристок шли с утра до позднего вечера, и я не мог отлучиться из огромного зала «Палаццетто делло спорт» ни на час. Но один из организаторов турнира, глава отдела рекламы фирмы «Мартини», мой новый приятель Гастоне Фара, пообещал, что в последние два свободных дня он отвезет меня на своем «фиате» к Итало Кальвино.

Между прочим, с Фарой тремя годами позже произошла весьма любопытная история. Фирма «Мартини» надумала открыть в ресторане «Националь» свой бар и послала в Москву на разведку Фару. Весь день он вел многотрудные переговоры с Интуристом, а вечером я повел своего обессилевшего гостя в ресторан «Арагви». И там Фара поведал мне о своей мечте заядлого собачника. Кто-то из друзей рассказал ему, что в России

есть кавказские овчарки, собаки совершенно необыкновенные. Даже среди своих умных сородичей они отличаются особой смекалкой и редкой преданностью хозяину. Такого стража дома он и рвался приобрести.

В то время я преподавал итальянский язык на Всесоюзных заочных курсах. В моей разношерстной вечерней группе была и москвичка Люда, по образованию учитель, по официальной профессии киоскер, а по неофициальной и куда более доходной — собачий парикмахер.

Утром я позвонил ей, и Люда охотно взялась достать Фаре эту чудесную собаку. Вот только раздобыть за пару дней еще и ветеринарное свидетельство трудновато. Но если у синьора Фары есть лишние джинсы, то все можно уладить. Лишние джинсы у Фары нашлись, и он стал думать, как везти собаку в самолете. С непростительной для моих лет и уже седых волос наивностью я предупредил его:

— Гастоне, кавказская овчарка, верно, лучшая из всех собак нашей планеты. Не забудь, однако, она еще и здоровущая и съедает в день добрый килограмм мяса. А мясо в твоей Италии не дешево.

Фара посмотрел на меня в полном недоумении.

— Лев, но для этого есть мороженое мясо.

В ответ я лишь кивнул головой — довод моего друга-инопланетянина был неотразим. Особенно если учесть, что в моей стране большинство населения лишь мороженое мясо и ело.

А на другой день пришла телеграмма-молния из Турина — Фару по какому-то очень важному делу вызвали на родину. Так он и улетел без желанной кавказской овчарки, любящей мороженое мясо.

Возвратимся, однако, в Турин лета 1966 года. Кончился турнир, и Фара повез меня в гости к Итало Кальвино и его жене Чичите и их двухлетней дочери. Странной вышла у нас эта первая встреча. После обеда Чичита ушла кормить дочь, а мы с Итало остались в гостиной вдвоем. И тут я, кругом беспартийный, никакой не диссидент, считавший к тому же политику делом нечистым, принялся убеждать Кальвино принять активное участие в борьбе против засилья в Италии клерикалов.

А он, бывший партизан, человек действия, с юности политически на редкость активный, ответил мне, что дико устал от вечных схваток партийных гладиаторов. И с какой-то обреченностью заключил, что ему в Италии жить просто опостылело. Со временем она превратилась в страну всеобщего материального благоденствия и почти всеобщей моральной апатии. Скорее всего он вообще сбежит во Францию. Там хоть

студенты еще не разучились сражаться с властями.

Год спустя Кальвино так и сделал — уехал во Францию и стал летучим писателем, беспрестанно кочующим между Парижем и Турином.

Ну а в тот раз я ему возразил:

— Ладно, не нравится тебе фиатовский Турин, переберись в Рим, как-никак столица, дружелюбная и веселая.

— Да ты что, шутишь? — вскинулся Кальвино. — Это же смешение гигантского балагана с огромной бюрократканцелярией.

А через семь лет Кальвино, по его собственному признанию, «эмигрировал» из Парижа именно в Рим. При новой, уже третьей столичной встрече я не преминул напомнить другу о его прежней весьма нелестной оценке вечного города.

— Как же ты отважился, Итало, перебраться в балаган? — спросил я.

Кальвино виновато улыбнулся.

— Все-таки в балагане жить приятнее, чем в этом жандармском Париже генерала де Голля. Он своих французов так отутюжил, что и немцы могут позавидовать. И вообще, Лев, я убедился — у моих соотечественников столько недостатков, что это уже становится достоинством, — заключил он таким вот парадоксом.

До сих пор не пойму толком, почему Кальвино, человек замкнутый, немного даже надменный и, похоже, недолюбливавший тех, у кого душа нараспашку, с первой же встречи со мной разоткровенничался и перешел на «ты». Меж тем он умел сохранять дистанцию и оставаться замораживающе любезным. Быть может, он из прежней нашей переписки понял, что нараспашку у меня эмоции, а душа на людях умолкает. Не исключено и другое — в ту трудную минуту смятения и поисков новых вечных истин ему очень хотелось выговориться.

Скорее всего, обе эти причины слились воедино, и свидетельством тому письмо, посланное почти вдогон.

Письмо содержит оценки характера и личных качеств автора воспоминаний, и за их точность я, разумеется, не ручаюсь.

«Дорогой Вершинин!

Я тоже был очень рад познакомиться с тобой и узнать тебя таким, какой ты есть: по характеру несговорчивый и одновременно благородный, ершистый и такой дружелюбный. Ты из тех людей, в котором сразу открываешь истинного друга. Таким ты показался мне и Чичите, проникшейся к тебе большой симпатией.

Весть о том, что мои „Космокомические истории“ будут изданы в Советском Союзе, очень меня порадовала. Я, конечно, готов помочь тебе и другим переводчикам разрешить все их сомнения. Не понял только, почему вы исключили именно рассказы „Знак в пространстве“ и „В одно мгновение“. Они для вас слишком абстрактны?

Скоро пришлю тебе и второй экземпляр этой моей книги.

Приближается Новый год, и Чичита и я от всего сердца хотим пожелать тебе и твоей семье всяческих радостей.

Твой Итало Кальвино».

Последний раз мы виделись с Кальвино в Риме в 1982 году, и тогда лишь стало мне ясно, почему из всего сборника «Космокомические истории» он считал самым значительным рассказ «Спираль». Ведь это был и символический знак его собственной судьбы. Вначале стремительный, во главе отряда партизан, бросок к заоблачной вершине коммунизма. И вдруг на полпути неодолимое препятствие — валун под названием «реальный социализм». С трудом, после тяжких сомнений, он обогнул валун и стал спускаться вниз. Но не по главной дороге, а боковой тропой, теперь уже в одиночестве.

А когда наконец добрался до равнины, то прибежище нашел в литературе. Как он сам написал мне из Парижа — в рассказах, основанных на чистой логике, — быть может, это была ответная реакция на его ранние «чересчур пламенные» произведения. Ну а в жизни надежным приютом для Итало стали семья и дом.

Странным образом и тут, при нашей римской встрече, Итало был со мной предельно откровенен.

Разговор зашел о семье, по-моему все больше становящейся островком спасения для тех, кто потерпел жизнекрушение. В какой-то момент я сказал Кальвино:

— Хорошо, а почему ты, Итало, так поздно женился — все силы отнимали политика и творчество?

Кальвино поглядел на меня мрачно и не больно-то дружелюбно.

— Я что, похож на аскета?! Э нет, Лев, возлюбленными меня Бог не обидел. И признаться, тянуло меня все больше на молодых аристократок — знаешь, знатность любовницы в постели особо распаляет.

Я молчал, не понимая, к чему он клонит.

— Но как видишь, женился на женщине с ребенком, вовсе не знатной и совсем не богатой. — Лицо его просветлело. — И ничуть о том не жалею. Ведь для меня лучшая семья та, где в полном согласии живут зрение и слух. — Прочитав в моем

взгляде изрядную ошарашенность, весело рассмеялся. — Пойми, Лев, я вовсе не шучу. Если твоя жена ежечасно, ежеминутно тебя не раздражает, а ты ее, то большего и желать нельзя. Ну а если ее не злит, как ты шумно сморкаешься, ешь машинально, не отрывая глаз от газеты, а ночью посапываешь, а тебя не приводят в бешенство ее бесконечно долгие сборы на прогулку, ее нарочито громкий смех при гостях-мужчинах, значит, вы и вовсе идеальная семья. А мне в Чичите и сейчас, через пятнадцать лет, все приятно.

Лучшей похвалы жене я не слыхал за всю свою жизнь.

Все равно Кальвино не мог, не умел отгородиться домом, семьей от бед и горестей окружающего его мира. Душа неспокойная не позволяла. Он сам мне потом признался, что хотел быть «над схваткой», да не получается. И что совсем тяжко, с годами чувство внутренней неудовлетворенности только растет.

Дабы не обвинили меня в красивом вымысле, приведу еще одно его письмо.

«Турин 19. 02. 1970 года.

Дорогой Лев,

получил сборник итальянских рассказов. Наконец-то составитель отобрал много крупных писателей, разных направлений, которые прежде, насколько я знаю, у вас оставались несправедливо забытыми…

Сам я продолжаю делить свою жизнь между Парижем, где целиком посвящаю себя семье и работе, и Италией, где вступаю в общение со всеми слоями общества — оно сейчас, как никогда прежде, требует решительных перемен. Но я чувствую себя старым (это в сорок-то семь лет!) и в своих отношениях с внешним миром во всех сферах все больше принимаю позицию стороннего наблюдателя. Порой меня радует эта моя отстраненность, но чаще я испытываю из-за этого внутренний дискомфорт. Увы, стремление быть среди тех, кто действует, улетучилось, и, похоже, безвозвратно. Ушло вместе с молодостью, и теперь я ощущаю потребность не вступать в прямой контакт с переменчивым временем.

Мы с Чичитой вспоминаем тебя с большой симпатией и надеемся вскоре увидеться вновь.

Твой Итало Кальвино».

Со дня его внезапной смерти прошло уже четырнадцать лет. А мне до сих пор не верится, что этот невероятно стойкий, мудро-рассудительный человек ушел из жизни столь несправедливо рано. Всего в шестьдесят два года, в расцвете творческих сил.

Но как то ни печально, есть в его смерти своя предопределенность. Ведь последние годы он жил на разрыв и был не в ладах с самим собой. Не мною первым подмечено, что интроверты, люди сильной воли, не дающие выплеснуться наружу эмоциям и страстям, идут по избранному ими пути уверенно и твердо. А потом вдруг падают как подкошенные. Главное же, Итало Кальвино, как писатель во многом, а как человек целиком, был связан с поколением войны и Сопротивления. Все они вначале испытывали лучезарные надежды и обладали несокрушимой верой, а в пятидесятые и шестидесятые годы их постигло тягчайшее разочарование. Не мудрено, что стать спокойным, невозмутимым наблюдателем Кальвино так и не сумел и во всем разделил со своим поколением обманутых бойцов-идеалистов его трагическую судьбу.

Глава тринадцатая

Один остроумный критик поразил однажды Россию таким парадоксом: «Пушкин был поэтом, а все остальные гениями». В Италии тоже было и есть немало гениев, а писатель один — Альберто Моравиа.

У него нет космического виденья мира, как у чудесного романиста послевоенных лет Джузеппе Бонавири, философской глубины Итало Кальвино, богатства языковой палитры отменного рассказчика Томмазо Ландольфи. Но вопреки всему, лицо послевоенной эпохи определяют не они, а Альберто Пинкерле, завоевавший всемирную литературную славу под псевдонимом Альберто Моравиа. Лучшие его книги выдержали даже безудержный натиск всесильного телевидения.

О феномене Моравиа написаны толстенные тома, однако понять до конца его природу так и не удалось.

Ну ладно, феерическому успеху романа «Равнодушные» в непостижимо далеком 1929 году никому дотоле неизвестный автор во многом обязан своей диссидентской отваге. Кто другой в период цветения молодого, нагло-самоуверенного итальянского фашизма осмелился бы сказать, что стальная крепость семьи — не более чем чистейшей воды миф?!

Официальная цензура в лице брата Муссолини хоть и с некоторым опозданием, но заметила, что роман изрядно расшатывает моральные устои фашистского режима.

«Хотелось бы знать, чему могут научить итальянскую молодежь Ремарк, разрушитель славного ореола войны, и Моравиа — ниспровергатель всех человеческих ценностей!» — восклицал он в своей рецензии. После чего крамольную книгу почти сразу запретили. Понятное дело, это возымело обратный эффект — лишь усилило популярность двадцатидвухлетнего писателя.

А когда в сорок первом году напечатал он роман «Маскарад», где под маской диктатора некоей латиноамериканской страны вывел в плане сатирическом самого великого Дуче, ему и вовсе запретили печататься.

Но и это было бы еще полбеды. Подлинная беда пришла с оккупацией нацистами Северной и Центральной Италии. Сын крещеного еврея Пинкерле и графини Де Марзанич, он для гитлеровцев был презренным иудеем, подлежащим депортации в концлагерь. Пришлось Моравиа скрываться в глухой деревне.

После войны это придало ему еще и ореол мученика и героя.

Но вот буквально вслед за освобождением Италии от

нацистов в 1944 году выходит повесть Моравиа «Агостино».

Уже торжествует в кино и в литературе неореализм, с его требованием предельно точно отражать безрадостную реальность, а Моравиа в повести рассказывает о трудных, болезненных отношениях матери и ее сына-подростка. Мальчуган этот испытывает к матери Эдипов комплекс, остро чувствует свою неприкаянность и мучительно познает тайны плотской любви. Действие развертывается на пляже курортного городка, где богатая его мать пытается вместе с Агостино уединиться от внешнего мира с его горестями и катаклизмами.

Казалось бы, совсем неактуальная, вневременная повесть. Да и говорить о стремлении Моравиа уловить новые веянья и опередить остальных не приходится. Между тем повесть имела огромный успех, скорее всего как раз потому, что Моравиа не рвался быть современным.

Нет, Моравиа предпочел пойти против течения, и далось ему это совсем не легко.

Мой коллега Георгий Богемский вспоминал свою встречу с ним в Риме в победном 1945 году на светском мартовском карнавале. Альберто Моравиа был в костюме Дьявола — красном трико и красном колпаке. Весь по вертикали, худой, долговязый, с узким треугольником бледного, костистого лица, сидел он в гордом одиночестве, окидывая танцующих саркастическим взглядом. Он и впрямь чем-то напоминал дьявола, но тоскующего и поверженного. Вероятнее всего, это лишь моя догадка, но в то переломное для Италии время Моравиа и сам испытывал гнетущую раздвоенность и неудовлетворенность собой. Новая действительность и для него диктовала свои моральные законы. Не потому ли вслед за «Агостино» в 1947 году появился роман «Римлянка», а затем «Римские рассказы». Оба эти произведения хоть и с некоторой натяжкой, но можно назвать реалистическими. Писатель ясно заявил о своем стремлении не быть над схваткой, а принять в ней самое горячее участие. Не случайно именно в эти годы он сблизился с коммунистами. В их идеалах он увидел реальное воплощение своих чаяний. Человек по натуре своей скептичный, склонный к рефлексии, не приемлющий любые догматы, он поверил или заставил себя поверить в марксистскую догму. Не сразу осознав, что, такая привлекательная на вид, она, в сущности, целиком надуманная, фантомная, сродни миражу в пустыне. И все равно неореализм, увлечение коммунизмом стало для Моравиа-писателя пусть и не очень коротким, но эпизодом. Сколько он себя ни обманывал, не лежало его сердце к чисто социальной проблематике и злобе дня. Неизмеримо важнее оказалась для него извечная проблема — противостояние

личности, и особенно личности творческой, обществу с его застывшим морализмом и вековыми запретами, придуманными, очевидно, духовными и физическими кастратами. Отсюда, верно, и восприятие Моравиа эротики, секса как модели жизни. Они во многом определяют, по его убеждению, даже наши поступки и образ мыслей. С годами у него вызрела мысль, что и творчество подвластно почти целиком изначальным законам секса. Сам Моравиа писал, что огромное влияние на него как на писателя оказали Дефо, Стендаль и Достоевский. Вряд ли он знал, что несравненный Лев Толстой, не тот хрестоматийно-музейный, несущий благодать и стерильно-чистый душой и телом, а живой, греховный, грубовато-насмешливый, много раньше высказал в сочном афоризме сходную мысль.

«Друг мой, берегите хрен, — наставлял он Горького, — ведь им-то и пишем».

Правда, секс, эротика никогда не были, да и не могли быть при высочайшей религиозности Льва Толстого основополагающими в его творчестве. Моравиа же именно эротизму, сексу всегда придавал главенствующее значение. И ничуть этого не скрывал, проводя, однако, четкую грань между сексом и порнографией, которую называл продажной девкой живительного Эроса. Ведь при желании, утверждал он, можно опорочить и непорочное зачатие.

Моя первая встреча с Моравиа состоялась в 1978 году в Риме, на квартире моего друга, писателя Луиджи Малербы.

В просторной гостиной на третьем, последнем этаже каменного, угрюмого на вид дома, за квадратным обеденным столом нас собралось четверо, Луиджи Малерба, его жена Анна, Альберто Моравиа и я, давний его переводчик. Годом раньше мне наконец-то удалось напечатать и в Союзе роман «Равнодушные». Беседа получилась интересной, если только это можно было назвать беседой. Минут через двадцать я убедился, что Моравиа явно предпочитает диалогу монолог и очень не любит, когда его прерывают. Лишь находчивому, быстрому на слово Малербе изредка удавалось вклиниться короткой репликой. Впрочем, и на нее Моравиа реагировал лишь односложным «пожалуй», «это вовсе не исключено», «едва ли» и невозмутимо продолжал развивать дальше свою мысль. Все сразу изменилось, когда речь зашла о моей родине, России.

— Ну как, сняли и выбросили наконец сталинские башмаки или так их разносили, что уже больше не жмут? — с вызовом спросил у меня Моравиа. И без малейшей паузы добавил: — А ведь они остались такими же узкими. Просто вы к ним за долгие годы привыкли и не замечаете этого. И никакой ремонт здесь не

поможет, башмаки надо менять. Иначе при всем желании Союз далеко не уйдет.

Я неосторожно возразил, что, по-моему, сталинизм — явление вовсе не только советское, а международное. Вот и компартия Италии даже во времена Пальмиро Тольятти была по духу своему косной, догматичной. Что тут началось!

Слаженным трио Моравиа, Малерба и Анна накинулись на меня, обвинив и в антиисторизме, и в упрощенчестве, и во многих других грехах. Моравиа, на мой взгляд бездоказательно, стал мне втолковывать, что итальянская компартия явление особенное, сугубо местное, так же как сталинизм — феномен чисто советский. Да и реальный социализм — тоже. И возможны они лишь в стране, где изначально не было прочных традиций демократии. А Малерба горячо его поддержал — у итальянской компартии совсем иная основа, и она проводит политику совершенно самостоятельную. Недаром ее руководящее ядро составляют мудрые, вдумчивые политики грамшианского толка.

— Для вашего Джузеппе Гарибальди само слово «политик» было бранным, — парировал я.

Дружно, не сговариваясь, они втроем принялись втолковывать мне, что Гарибальди был великим полководцем, но политиком никудышным.

— За то его и любили простые итальянцы, изрядно устав от политиканов всех мастей, — ответил я, вовсе не собираясь сдаваться. Чем только подлил масла в огонь.

— Уж не записался ли ты, Лев, в менефрегисты (что по-русски переводится примерно как «на все наплевавший»)? — мрачно так спросил Малерба.

— Если ты имеешь в виду, кто у нас лучше и политичнее, скажем Брежнев или Громыко, то мне и впрямь на это наплевать.

Словом, согласия достичь так и не удалось, и мы перешли на темы сугубо практические.

Книги Моравиа изданы во всем мире. И в Европе, и за океаном. Но он высоко ценил свою общероссийскую славу и крепко огорчался, что мы с изрядным скепсисом относимся к позднему, «сексуальному» Моравиа.

— Это наши заумные критики придумали деление меня на раннего и позднего! — возмущался Альберто. — Нет двух Моравиа, есть писатель, верный одной-единственной теме — противостояние общества и личности. Особенно личности творческой и уже по этой причине внутренне независимой. Только я не свожу такое противостояние к социальной борьбе классов и каст. Для меня важнее противоборство между идеалом и целью в самом человеке, степень его внутренней

раскованности, — продолжал он. — И тут мерилом служит и его сексуальная раскрепощенность. Кто несвободен в любви, несвободен и в своих воззрениях и поступках.

Он прервал страстный монолог, чтобы залпом осушить стакан минеральной воды, откашлялся и обратился теперь уже прямо ко мне:

— Возьмем, Лев, вашу страну, вспомним ее историю. Разве политическая несвобода не влияет на лицемерный, насквозь лживый пуританизм, до сих пор царящий у вас в литературе и в кино — голую девку у вас на экране и по сей день показать нельзя. А в литературе — сцен совокупления вы боитесь как черт ладана. И я еще не знаю, где здесь причина, а где следствие. Ложь не делится на общественную и личную, она всеохватна.

Возразить на эти его полемические выпады было трудно — сексуальное лицемерие и впрямь мало чем уступало политическому. Но меня все же не покидала мысль, что в последних рассказах и романах Моравиа секс, фрейдовские мотивы стали чересчур назойливыми, стирая тончайшие нюансы любви.

Спор затянулся до позднего вечера, и я вышел проводить Моравиа до площади Навона, где его ждала машина.

Напротив дома Малербы стоит маленький газетный киоск. Моравиа, прихрамывая — он в детстве перенес костный туберкулез — и опираясь на свою неизменную трость, подошел к киоску и спросил, остался ли последний номер «Эспрессо». Он много лет подряд вел в этом журнале кинорубрику. К счастью, нашлось целых две дюжины «Эспрессо», и здесь началось настоящее столпотворение. Прохожие узнали Моравиа, бросились раскупать журнал и просить у Альберто автограф. Радостная весть быстро донеслась до соседней площади Навона, и вскоре новые отряды фанов оттеснили меня от киоска и от Моравиа.

А тот озирался в растерянности и даже испуге — боялся, как бы в экстазе его самым банальным образом не смяли. Одна экзальтированная девица подбежала и поцеловала ему руку, другая выхватила у него трость и оторвала на память щепку.

Еле-еле мне удалось увести Моравиа на площадь, где встревоженный шофер смог наконец усадить его в машину. Отчаянно гудя и визжа тормозами, она увезла писателя домой на набережную Тибра.

Нечто подобное мне довелось видеть позднее лишь в Венеции, когда зрители едва не раздавили теледиву Рафаэллу Карра, а еще раньше — в Риме, на концерте Доменико Модуньо.

Когда исступленно-восторженно приветствуют знаменитостей вроде Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди, Джины

Лоллобриджиды, Софи Лорен, для Италии это абсолютно естественно.

Но чтобы с не меньшим восторгом, а главное, с азартом и фанатизмом футбольных болельщиков встречали писателя, мне лично видеть больше не доводилось.

В Италии писатель обычно популярен в кругу семьи, друзей, знакомых и лишь в редких случаях среди журналистов и читательской элиты. Поистине всенародной славы удостоился один Альберто Моравиа.

Причины такой общеитальянской популярности мне понятны. Моравиа в лучшем смысле этого слова писатель для всех — и для элиты, и для так называемого среднего читателя.

Если вы литературный гурман или сноб, то будете читать его психологические романы «Ложные амбиции», «Скука», «Презрение». Если же вам важно пульсирование обыденной, нелегкой жизни римских предместий и селений Чочарии, вы возьмете его «Римские рассказы», романы «Чочара» и «Римлянка». Выбор тут обширнейший. И что очень важно — читатель не испытывает неприятного чувства явной неосведомленности, когда писатель подавляет тебя собственной богатейшей эрудицией и философским глубокомыслием. И еще обычно романы и повести Моравиа — с крепким, динамичным сюжетом. Он в меру ироничен и резок. Ну, а юмор присущ ему органически, причем он вовсе не чурается простонародных шуток и эпитетов, подчас весьма соленых.

Редко, крайне редко удается писателю сложнейшие проблемы бытия передать в форме простой, доступной не только для весьма образованных людей, но и для обычного читателя.

Альберто Моравиа совершил такое литературное чудо, отсюда и поразительное долголетие его невиданной всеитальянской славы.

А насколько он был популярен и в Стране Советов, я неожиданно убедился во время нашей встречи с Моравиа в 1983 году.

В Рим я прилетел из Сицилии, где тремя днями раньше в составе делегации Союза писателей побывал на международном симпозиуме.

Сразу позвонил Моравиа и договорился о встрече с ним у него дома. Предупредил руководителя делегации Виталия Коротича и моего давнего друга поэта Евгения Винокурова, что, если вернусь поздно, пусть не волнуются. На всякий случай даю им телефон Моравиа.

Вдруг Коротич мне говорит:

— Лев, если это вас не затруднит, я бы тоже хотел съездить с

вами к этому писателю. Есть у меня при этом и корыстная цель, — с улыбкой добавил он. — Может, что-нибудь новенькое, свежайшее для нашего журнала заполучу. — (В то время Коротич был в Киеве главным редактором журнала на украинском языке «Всесвит».)

— А меня не возьмете? — просительно сказал Винокуров.

— Тебе-то он зачем понадобился? — изумился я.

— Ну как же! Потом расскажу всем друзьям и напишу в очерке, что встречался с великим Моравиа, и уже одним этим войду в историю, — с подкупающим простодушием объяснил Женя.

Не знаю, как вас, а меня такая чисто детская откровенность растрогала.

Я перезвонил Моравиа и попросил его принять не меня одного, а тройку, только не судебную, а писательскую. Зловещее слово «тройка» было ему известно из эмигрантской литературы, и он, хохотнув в трубку, охотно согласился.

Принял он нас вместе со своей новой женой и хозяйкой дома Кармен Льера. Сам он сидел, всем телом вдавившись в мягкое кожаное кресло, а Кармен приютилась рядом на ручке того же кресла. Разговор шел на английском, которым Коротич и Моравиа владели более чем прилично. Мы с Женей Винокуровым вступали в него, лишь когда Альберто обращался к нам с каким-нибудь вопросом. А Кармен то и дело гладила его по седым волосам и морщинистой щеке. При этом, неотрывно глядя на Коротича, постепенно расстегивала, будто бы от нестерпимой жары, пуговицы на почти прозрачной блузке.

Монолог мужа она слушала в благоговейном молчании, что говорило о ее уме и женской мудрости.

Собственно, и я пришел к Моравиа с вполне конкретной целью — взять у него второй экземпляр книги путевых заметок «Письма из Сахары», которую я собирался перевести. Еще я надеялся уговорить его получить гонорар не в иностранной валюте, а в рублях.

Единственный, пожалуй, в Италии писатель, живший лишь на литературные заработки, он спокойно дал согласие на вознаграждение в «неразменных рублях», тем более что собирался вновь приехать в Москву.

Внезапно, вспомнив, видно, тот наш разговор в доме Малербы, сказал мне по-итальянски, усмешливо, хоть и беззлобно:

— «Письма из Сахары», это, конечно, хорошо, а вот опубликовать мой роман «Ио э луй» у вас, верно, до скончания века духу не хватит.

— Что значит «ио э луй»? — живо поинтересовался Коротич (слово «роман» он понял).

— Я и он.

— А кто же этот загадочный «он»?

— Детородный орган!

— О, как интересно! А нельзя ли роман сей получить для «Всесвита»? Прелюбопытная, наверно, вещь. И мы ее, может, в этом году и опубликуем.

Скажи такое другой редактор, я бы принял его в лучшем случае за фантазера, а в худшем — за беспардонного враля. Коротичу же я, представьте себе, поверил. Ведь взял он и напечатал роман Курцио, Малапарте «Кожа». Того самого Малапарте, которого советская критика назвала воинствующим трубадуром фашизма за то, что в годы войны он был военным корреспондентом на Украинском фронте. Сколько мы, итальянисты, ни объясняли, что потом он искренне и всерьез разочаровался в фашизме, который в тридцатые годы виделся ему поборником социального равенства, ничто не помогло. Один Коротич не остался глух к стенаниям итальянистов и с творчеством Курцио Малапарте украинских читателей познакомил.

Роман «Я и он» ни в одной из стран СНГ не издан до сих пор. Вовсе не потому, что Коротич побоялся печатать это и впрямь весьма эротичное, а порой и физиологическое произведение. Как известно, вскоре он переехал в Москву, где стал редактором «Огонька». И там в пылу борьбы, литературных и публичных схваток с лжепатриотами российскими и ревнителями морали ему стало не до романа Моравиа. А так, после теперешней-то порнухи, кого сейчас поразишь романом, в котором Моравиа ведет беседу, спор и философско-эротический поединок со своим пенисом.

Знаю, правда, что издательство «Радуга» собирается издать трехтомник избранных произведений Альберто Моравиа.

К большому моему горю, сам Моравиа не увидит и первого тома своих творений на русском языке. Этот отнюдь не степенный и величественный в повседневной жизни патриарх итальянской литературы скончался в 1990 году в возрасте восьмидесяти трех лет.

Да, он прожил совсем немало, успел сделать и того больше, и все равно его смерть была преждевременной. Ведь в нашем зыбком, ожесточившемся и одичавшем мире он был одним из последних писателей-гуманистов. Менялись его воззрения, литературные и жизненные пристрастия, но он неизменно оставался верен своему творческому кредо, такому простому и

трудновыполнимому: какая бы на дворе ни стояла власть, нельзя обманывать себя самого и читателей, даже если они были бы этому в глубине души рады.

Глава четырнадцатая (финальная)

Дописал последнюю фразу, и стало мне как-то не по себе. С чего вдруг? Так пока по жизненному пути шел, сколько чудесных друзей потерял! Вот из тех, о ком здесь более или менее подробно рассказал, живут и здравствуют лишь Евгений Евтушенко, Виталий Коротич и Витторио Страда, да сбудется пожелание его любимого поэта Маяковского «Лет до ста расти нам без старости». Хоть и не здравствует, но отважно противостоит жизненным невзгодам мужественная женщина Луче д'Эрамо. Однако никогда уже не встречусь я с Борисом Слуцким и Евгением Винокуровым, с Альберто Моравиа и Итало Кальвино, с Примо Леви и Анджело Мариа Рипеллино. Хоть теплится надежда, что в беседах наших и спорах, письмах и разговорах телефонных, о чем я тут рассказал, станут они и читателям ближе, и мне самому еще роднее. Все равно, не отступает мысль — а разве не о многих других чудесных людях, знаменитых и не очень, я либо упомянул вскользь, либо и вовсе промолчал? А ведь они вполне достойны не то что отдельной главы, а и целой книги. Тот же Евгений Винокуров однажды за разговором с бокалом вина в руке горько так сказал мне:

— Неужто, Лев, для потомков я навсегда останусь лишь автором слов к песне «Сережка с Малой Бронной»?! Тогда уж лучше было стать врачом, о чем мама мечтала.

Мрачный его прогноз, к счастью, не сбылся. Будем, однако, честными до конца. Разве критики и читатели оценили в полной мере его недюжинный поэтический талант, свежесть виденья войны? Нет и еще раз нет! Пусть и в меньшей мере, но это относится и к Давиду Самойлову и к Борису Слуцкому в России, к Луиджи Малербе и Васко Пратолини в Италии. По мне, так этот снобизм критики и забывчивость читателей — лишнее свидетельство того, что в своих предубеждениях мир вовсе не делится на Западный и Восточный.

И вот рассказал я о своих сомнениях замечательному итальянскому критику и писательнице-историку Марии Корти.

На что она мне ответила:

— Лев, писатель истинный о своей прижизненной славе заботиться не должен. Разве Пруст и Ремарк об этом беспокоились? Между тем многие мои коллеги, итальянские писатели, слишком даже о своей популярности пекутся. Талант ведь он как трава — даже сквозь асфальт пробьется.

Мысль Марии Корти показалась мне изрядно спорной. В простенькой шутке «С утра сам себя не похвалишь, потом до вечера будешь ходить как оплеванный» есть немалая доля истины. А если серьезно, то в наши насквозь пронизанные рекламой дни и подлинный талант очень даже нуждается в словесной и письменной рекламе.

Поэтому хотелось бы рассказать и о других интересных, неординарных людях, с которыми сводила меня моя литературная и жизненная дорога. Попытаюсь сделать это, если будет на то воля Божья, в еще одной книге воспоминаний. Пока же ставлю не точку, а многоточие и крепко надеюсь на новую встречу с неравнодушным читателем…

Эта книга — во многом плод жизненного опыта и сердца горестных и радостных замет. О людях знаменитых, и не только, но всегда — своеобразных, с изюминкой. Они-то и дают мне — и, уверен, читателям — веру в конечное торжество честной дружбы и щедрой любви в суровом двадцатом веке.

Лев ВЕРШИНИН

Лев ВЕРШИНИН (род. в 1926 г.), известный литературный критик и переводчик, в настоящее время живет в США. За свою долгую жизнь встречался со многими знаменитостями: Альберто Моравиа и Итало Кальвино, Борисом Пастернаком и Лилей Брик, Анастасией Цветаевой и Евгением Евтушенко... Об этих встречах, «о времени и о себе» и рассказывает он в своих мемуарах.

Издательство «РАДУГА»